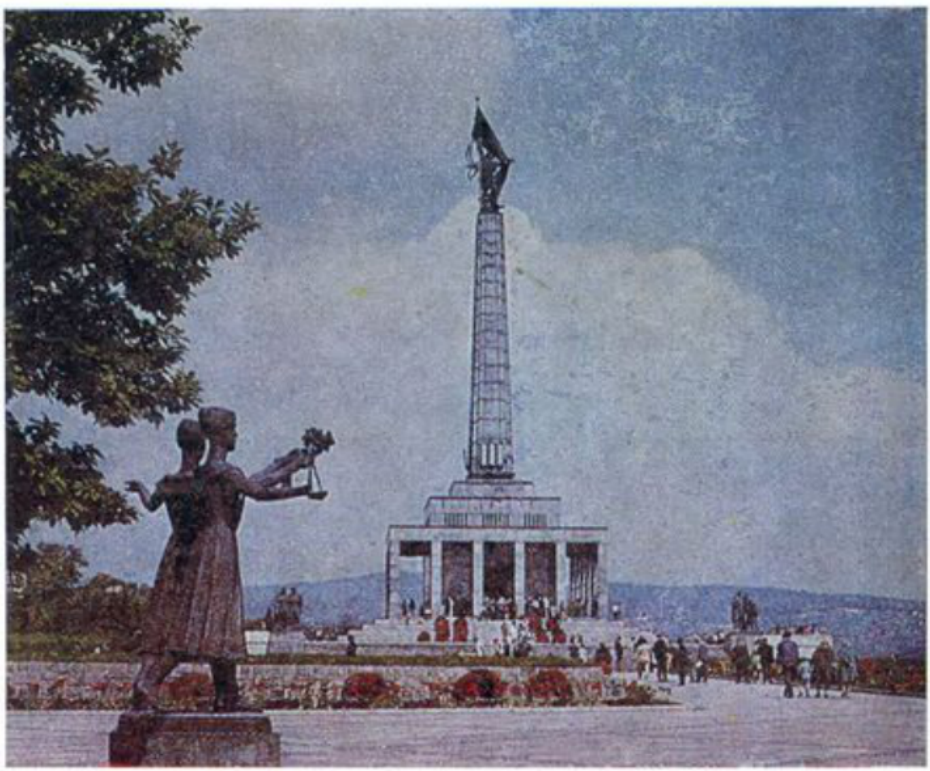
ISSN 0130 – 6545

5. 1985

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ — ALBERT MALTZ (род. в 1908 г.)

Американский романист, новеллист, драматург. Сборник его новелл «Такова жизнь» («The Way Things Are», 1938) был удостоен премии О. Генри. Автор романов «Глубинный источник» («The Underground Stream», 1940; русский перевод— 1949), «Крест и стрела» («The Cross and the Arrow», 1944; русский перевод—1961), «Путешествие Саймона Маккивера» («The Journey of Simon McKeever», 1949), «Длинный день в короткой жизни» («A Long Day in a Short Life», 1957; русский перевод— 1958). Ему принадлежит также сборник эссе «Писатель-гражданин. В защиту американской культуры» («The Citizen-Writer. Essays in Defence of American Culture», 1950). Многие рассказы А. Мальца публиковались по-русски отдельными изданиями и в периодике, в том числе в «Иностранной литературе». Перевод повести «Однажды в январе» выполнен по изданию книги, вышедшей в 1966 г. («A Tale of One January». London, Calder and Boyars).

МИТИНА СУЛАМИФЬ ОСКАРОВНА

Советский переводчик с английского. В ее переводе выходили книги Трумэна Капоте «Голоса травы», Теннесси Уильямса «Римская весна миссис Стоун», роман Памелы Хэнсфорд Джонсон «Особый дар» («ИЛ». 1979, № 1—2), сборник рассказов Шона О’ Кейси «Под цветной шапкой», рассказы Грэма Грина, Дж. Сэлинджера и работы многих других англоязычных авторов.

-
- Глава первая. ПОБЕГ
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- Глава вторая. ЗАВОД
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- Глава третья. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
  - 1

- 2
- 3
- 4
- 5

- Глава четвертая. СПАСИБО, АНДРЕЙ
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
- Глава пятая. «КАТЮША»
  - 1
  - 2
  - 3
- Глава шестая. ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- Глава седьмая. ТРИ КАПУЦИНА
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

○ 13

АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ
ОДНАЖДЫ В ЯНВАРЕ
повесть

Перевод с английского С. МИТИНОЙ

Глава первая. ПОБЕГ

1

В день двадцатишестилетия Клер в пять часов утра верная подруга Лини обняла ее и преподнесла ей купленный дорогой ценой подарок: два сладких печенья и башмаки. Зная, чем за них заплачено, Клер не смогла удержать слезы. И теперь, восемь часов спустя, она жевала печенье, с тяжелым предчувствием разглядывая башмаки: надо их снять во что бы то ни стало, но даже подумать об этом страшно.

2

Давным-давно, лет сто тому назад, в совсем другой жизни, человек, который потом стал мужем Клер, написал ей шутливое послание, где посмеивался над ее пристрастием к высоким каблукам. И сейчас о письме его ей думалось как о чем-то далеком, туманном, но в памяти оно всплывало не отрывками, а целиком, словно бы его повторял тихий голос, поднимающийся откуда-то из глубин ее существа:

«Портрет Клер (для грядущих поколений)

Она красива — той красотой, что не терпит ухищрений косметики. Длинные шелковистые волосы цвета пшеницы причесывает просто, без затей, закручивая их низким узлом на затылке; они легкие, словно пух, прядки их то и дело выбиваются из прически на лбу и на висках, и небольшой этот беспорядок очарователен. Кожа у нее очень светлая, а рот и щеки такие яркие, что, вздумай она их подкрашивать,, они прямо-таки пламенели бы, и это бы ее, безусловно, простило, но она благоразумно избегает косметики. Черты лица у нее почти классические — впрочем, благодарение богу, все-таки не совсем: тонкий овал лица, высокий лоб, необычайно живые синие глаза, небольшой, красиво очерченный рот (как пылки и сладостно-нежны его поцелуи!), а вот нос — отмечу не без удовольствия — немножечко длинноват для классического, и к тому же кончик его чуть вздернут.

Наделив мадемуазель Оливье столь плебейским носиком, природа оказала ей неоценимую услугу: с юных лет Клер привыкла к мысли, что она не красавица, а разве что недурна собой. И это спасло ее от падения в холодную яму кичливого самолюбования — обычного удела красивых женщин. Она не из тех, кто минуты не может прожить без зеркала; не питает она пристрастия и к тем жестам и позам, к которым так склонны женщины, сознающие свою красоту; вот потому-то ей удалось всесторонне развить свой интеллект... а благодаря этому стать обаятельнейшей женщиной, непосредственной и пылкой, содержательной и полной жизни.

Фигура у нее великолепная — во всяком случае, насколько об этом может судить человек, которому еще не дано было узреть ее обнаженной: маленькая соблазнительная грудь, плоский живот, тонкая талия, округлые бедра и длинные, изумительной красоты ноги.

И вот у этой-то Клер, такой трогательно-непосредственной, пленительно-женственной, очаровательной, обожаемой мною,

есть — увы! — серьезный моральный изъян. Она , испытывает неодолимую тягу — только не к вину, не к наркотикам, не к флирту и не к чужой собственности, а к чему-то не столь пагубному, но как-то более outre[1]: к туфлям на высоченном каблуке, которые она имеет обыкновение надевать во всех случаях жизни. Например, затеваем мы пикник в Булонском лесу, и Клер надевает эти ужасные ходули — пусть даже она потом их сбросит, чтобы побегать по траве; но как бы то ни было явится она в них. Ни босоножек, ни туфель для улицы у нее нет, и я не сомневаюсь, что и на лыжах она катается в туфлях на каблуке. Я слишком влюблен, чтобы считать это ее пристрастие манией или фетишизмом, но хотелось бы знать, как расценил бы его человек более объективный, чем я?

Душу мою беспрестанно точит червь сомнения: когда придет долгожданный, несказанно счастливый миг и она станет совсем моей; когда, трепеща от радости, я увижу ее, мою красу, обнаженной, распростертой на священном брачном ложе... Неужели... Неужели же и тогда на ней будут эти дурацкие ходули?

Пьер Барбантан»

В ответ Клер написала ему: «Дражайший Пьер... Так скоро вам это выяснить не удастся».

3

Вот уже сколько времени Клер и думать забыла о туфлях на каблуке, как забыла о многом другом, что было таким обычным в ее прежней жизни, скажем, о том, чтобы причесываться, ежедневно принимать ванну, прикладывать к шее пробочку от пузырька с одеколоном, читать книги, любить мужа... От прежней Клер только и осталось что синие глаза да красиво очерченный рот — единственное, чего так и не смог обезобразить голод. С обритой головой, повязанной сейчас платочком, она напоминала изголодавшегося мальчика: огромные глаза над ввалившимися, как у мертвеца, щеками, хрящеватый вытянувшийся нос, мертвенно-бледная кожа. Тело ее под полосатой лагерной одеждой потеряло свою женскую прелесть, руки и ноги превратились в палочки, шея стала жилистой, ребра выпирали, от груди остались лишь соски. В этот день, восемнадцатого января сорок пятого года — по иронии судьбы то был день ее рождения, — Клер впервые очутилась за воротами лагеря, но не по собственной воле: она шла в бесконечной колонне таких же изможденных, оборванных женщин, что брели, спотыкаясь, сквозь метель, не зная даже, куда их гонят. По временам до них доносился отдаленный гул русской артиллерии. И сколько их молилось о чуде, о внезапном спасении, вновь и вновь представляя себе в мечтах, как оно придет. Но оно не приходило, и в действительной жизни все было совсем по-другому: по обеим сторонам колонны через каждые пять рядов шагает конвоир — здоровенный, раскормленный солдат вермахта с раскормленной рычащей сторожевой собакой, команды его отрывисты, подсумок полон. И когда какая-нибудь из женщин, обессилев, падает на колени в снег, он молча берет ее на мушку.

Прошло лишь несколько минут с тех пор, как этап, с которым шла Клер, загнали в сарай — на кратковременный отдых. Был час дня. С семи утра колонна прошла двадцать два километра. Ее подруга Лини, как и все остальные, завернулась в тонкое заледеневшее одеяло, закрыла глаза и мгновенно уснула... Впрочем, нет, прежде чем уснуть, она все-таки успела засунуть под рубашку свою пайку и для верности зажать ее между ног. *И* теперь, сидя рядом с нею, Клер изо всех сил боролась со сном. Веки словно налились свинцом, усталость дурманом разливалась по жилам. Но Клер понимала: прежде чем их погонят дальше, надо во что бы то ни стало растереть ноги — массировать до тех пор, пока чувствительность не возвратится.

Новые башмаки, которым Клер так обрадовалась утром

(старые развалились вконец), были попросту деревянные колодки с брезентовым верхом, и теперь брезент обледенел, стал жестким, как железо. Сперва башмаки спадали с ног, а сейчас так стискивали пальцы, что с первой довольно слабой попытки сбросить их не удалось. Чтобы хоть как-то подкрепиться, Клер сжевала два печенья и сделала вторую попытку: ухватилась обеими руками за левый башмак и принялась отдирать его — все равно нога не чувствовала боли. Дважды она делала передышку, чтобы собрать жалкие остатки сил; но вот ледяная колодка отделилась от окоченевшей пятки, и Клер вцепилась в носок башмака — тянула, тянула, покуда нога наконец не высвободилась.

С ужасом оглядела она распухшие, словно чужие, пальцы, отекшую, бескровную, посеревшую стопу. Смертельный страх ужалил ее в сердце: ей сразу стало ясно, что несколько минут или даже полчаса массажа ничего не дадут. Она знала, как выглядят обмороженные ноги, и понимала, что далеко ей не уйти. Так что когда конвоиры выкрикнут: «Los! Ausgehen!»[2] — незачем и вставать: лучше пусть ее пристрелят здесь, в сарае, чем час спустя, когда она, выбившись из сил, упадет на дорогу.

За двадцать три месяца в Освенциме Клер перевидала слишком много смертей, чтобы теперь, когда, быть может, пришел и ее черед, почувствовать удивление. Муку, страх — да, но только не удивление и даже не отчаяние. Для отчаяния пока рано, оно придет, когда на нее будет наведено дуло автомата. Безотчетно, еще не приняв никакого решения, она тут же сосредоточилась на мысли о побеге. С пяток конвоиров вместе со своими собаками расположились у двери в противоположном конце сарая. А нет ли здесь другого выхода? Она торопливо оглядела сарай в бледном свете зимнего дня — нет, как будто нету. В низкой крыше — ни единого просвета, в стенах — ни единого оконца. Что же еще придумать? Неужели все? Неужели конец?

И тут ее осенило: когда их загнали в сарай, ей пришлось взобраться на высокий ворох сена. Пола не было видно, только сено. Скотины нет, значит, здесь просто сеновал, но почему же тогда крыша такая низкая?

Может быть, сарай наполовину ушел в землю?

В тот же миг, преодолев усилием воли смертельную усталость, Клер перекатилась на живот и, став на колени, принялась лихорадочно разгребать сено обеими руками. Уложено оно было в натруску, не утоптано, и за несколько секунд она прорыла нору, куда рука ее ушла по плечо. Тихо охнув, она приподнялась с колен и стала тормошить подругу.

— Проснись,— настойчиво зашептала она по-немецки.

Лини заворчала во сне и вытянула было руку, чтобы оттолкнуть Клер, но вдруг села рывком.

— Что, уже идти?

— Нет еще,— прошептала Клер.— Слушай... Я отморозила ноги... Больше идти не могу, но...

— Что ты такое говоришь? — перебила ее Лини сиплым шепотом.— Ты *должна* идти! Ты же знаешь — я рядом.

— Не могу, мне конец — смотри!

Неимоверным усилием Клер перевернулась на спину и вытянула босую ногу. Лини взглянула на нее, тут же ухватилась за правый башмак, с трудом стянула его. Потом испуганно посмотрела на подругу.

— Еще час ходьбы,— быстро проговорила Клер,— и мне конец. Но, по-моему, здесь можно спрятаться.

— Спрятаться? Где?

Клер показала на вырытую в сене нору.

— Сено не утоптано. Его много — думаю, можно зарыться с головой.

— Что они, дураки, что ли? Станут искать и найдут.

— Нас не пересчитывали, когда загоняли сюда. С чего же они вдруг хватятся? Нас тут человек двести.

— Станут тыкать в сено штыками.

— Но если зарыться поглубже...

— Все равно собаки учуют.

— В сене собаки учуять не могут.

— С чего ты взяла?

— Потом скажу, сама знаешь, я зря говорить не стану. Так что решай, как ты. А для меня это единственная возможность... Ну?

Мгновение Лини, кусая губы, смотрела на Клер с острой мукой в глазах; скуластое, исхудавшее лицо ее застыло в нерешимости. Потом она метнула взгляд на дверь, где, отделенные от них полутемным провалом, виднелись фигуры конвоиров. И сдавленным шепотом выдохнула:

— Мы так давно вместе, не могу я тебя бросить.— То не было обдуманное решение, скорее душевный порыв, и обе это понимали. Лини отшвырнула одеяло, торопливо зашептала: — Чтобы нас не нашли, надо зарыться поглубже, но тогда дышать будет нечем.

— Сено уложено неплотно; думаю, воздух проходит — попробуем.

— Давай я первая. Постараюсь уйти поглубже — покуда воздуха хватит.

И Лини встала на четвереньки. Крутобедрая, по-крестьянски

ширококостная, она была в куда лучшем состоянии, чем Клер, хоть и потеряла фунтов двадцать. Она сунула голову в лаз и принялась торопливо раскидывать сено, зарываясь в него все глубже, словно крот в рыхлую землю. Несколько секунд — и она ушла в сено по грудь. Клер бросила быстрый взгляд сперва на конвоиров, затем на расположившуюся неподалеку женщину — та, приподнявшись, смотрела на них во все глаза. Теперь из сена торчали только ноги Лини.

— Ш-ш-ш,— бросила Клер наблюдавшей за ними женщине и предостерегающе прижала палец к губам. Женщина безучастно на нее поглядела.

«Merde!» — мысленно выругалась Клер и, сунув голову в лаз, стала в него заползать.

Лаз круто шел книзу. Клер ползла за башмаками Лини, держась сантиметрах в десяти: ужас и надежда перемешались в душе. Будут ли башмаки двигаться и дальше? В нос и в открытый рот сыпалась труха, сено смыкалось над ее босыми ногами, в голове бухало, но Клер почти не замечала этого. Энергично работая руками, она уходила все глубже и глубже, сумрак вокруг нее сгущался, но дышать было можно, и Клер затрясло от радости. Глубоко ли они зарылись? Трудно сказать. Вдруг она уперлась лбом в подошву башмака. Почему Лини остановилась? Но тут башмак снова медленно двинулся вперед, и Клер поползла вслед, стараясь не отрываться и лишь смутно различая его. До нее вдруг дошло, что теперь они ползут не вниз, а вверх. Но почему? Медленно, медленно вверх — остановка, снова вверх — стоп. Клер поняла: это для того, чтобы можно было лечь плашмя. Но почему все-таки Лини не ушла глубже? Протянув руку, она ухватила Лини за лодыжку. И словно в ответ башмаки повернули куда-то вбок. Клер поползла было за ними, но потом сообразила: Лини поворачивает. Клер замерла, вытянув руки, словно щупальца. Секунда-другая — и рука Лини, чуть коснувшись вытянутых пальцев Клер и проскользнув было мимо, вернулась и сжала их. И вот уже тенью надвинулось ее лицо. Лини нащупала ухо Клер, прижалась к нему ртом, зашептала:

— Глубже... не могу.., дышать... нечем.

— А мы и так довольно глубоко,— взволнованно ответила Клер.— Темень такая, я еле тебя вижу.

— Господи боже мой,— пробормотала Лини,— неужели спасены? Они умолкли, обеих била дрожь. Вдруг Лини прошептала: — А откуда ты знаешь про собак?

— Что знаю?

— Ну что они ничего не могут учуять в сене?

— Мне дедушка говорил, у него были охотничьи собаки.

— Да ведь это полицейские овчарки — может, у них нюх острее?

— Ну что ты! Дедушкины собаки брали кроличий след даже через несколько дней, а в стоге сена не могли крысы учуять. Так он мне говорил.

— Хорошо бы,— пробормотала Лини.— Господи, до чего страшно, меня всю трясет.— Она прокашлялась.— От пыли в глотке пересохло.

— Молчи,— Клер потянулась к ней, и они схватились за руки. Теперь беглянки лежали на боку, глядя друг другу в глаза и целиком обратившись в слух. А время ползло. Сколько же это прошло — пятнадцать минут, полчаса или больше? И вот страшный роковой миг — пронзительные свистки, отрывистые выкрики конвоиров:

— Выходи! А ну живо! Строиться!

Они оцепенели. И вдруг Лини стал бить кашель. Клер рывком высвободила руку, зажала ей рот. Все ближе резкие выкрики конвоиров и лай овчарок, все слышней шуршание сена под множеством ног.

— Выходи! Живо! — И наконец, голос прямо над ними:*— Если которая-нибудь из вас, подлюг, спряталась в сене — выходи, не тронем. Но если кто вздумает остаться, найдем и застрелим на месте!*

Дрожа от страха, ждали они удара штыком, вспышки света, наведенного сверху дула. Грубый голос выкрикнул ту же угрозу, но уже в другом конце сарая. Сено все шуршало, похрустывало... Вдруг шорохи разом стихли — только лай собак да тяжелые шаги конвоиров: взад-вперед, взад-вперед. И вот пронзительные свистки зазвучали уже за стенами сарая — значит, заключенных выстраивают в колонну. А потом и лай стал доноситься снаружи... Беглянки остались одни в наступившей внезапно тишине.

Лини больше не кашляла, и Клер сняла руку с ее рта. Они лежали неподвижно, взмокнув от напряжения, тяжело дыша. Наконец отрывистые команды конвоиров на марш и скрип смерзшегося снега под сотнями ног.

— О господи,— прошептала Лини.— Удалось-таки. Сбежали.

— Да, да, да, удалось! — всхлипнула Клер.

— Мы сбежали,— удивленно повторила Лини,— сбежали.

С радостным волнением они прислушались. Невдалеке хлопнул выстрел. Обе вздрогнули, потом Клер сказала:

— Это в меня. Это я убита.

Их вдруг стал душить смех, тот исступленно-радостный смех с острым привкусом горечи, что ведом лишь людям, которые жили бок о бок со смертью. Вконец обессилев от смеха, они

лежали неподвижно, впитывая тишину,— она была словно нектар для их пересохших глоток. Прошло немного времени, и топот удаляющейся колонны стал затихать.

— Мы могли оказаться в другой колонне,— едва слышно сказала Клер.— В той, что отдыхала у дороги. А нас загнали в сарай. И как эта нам так повезло?

— «Как это, как это...» — Ласковым шепотом передразнила ее Лини.— Ты и тут себе верна — вечно ищешь философию там, где ее в помине нет. Как это ты не померла от тифа? Как это нас обеих не расстреляли в Тулузе? — Потом, после короткого молчания:—Подумала бы лучше, что нам теперь предпринять.

— Не знаю,— растерянно пробормотала Клер.— Я вообще больше не могу думать. Мне надо поспать. Я совсем выдохлась.

— Ой, пайку-то я оставила! — всполошилась Лини.— Что я наделала! Пропал мой хлебушек.

Но Клер не ответила — она уже забылась тяжелым, болезненным сном. Лини прокашлялась. Последнее, что она услышала, был отдаленный выстрел.

4

В тяжелом кошмаре Лини привиделось: она прячется в каком-то ящике, и ей невыносимо душно, а разъяренные овчарки шныряют вокруг, ищут ее. Внезапно она проснулась — в сарай входила новая партия заключенных. Клер похрапывала во сне. Лини осторожно потормошила ее, зашептала в ухо:

— Тише, тише, тише...

— А? Что?— Язык у Клер заплетался.

— Еще этап! Проснись!

— Я не сплю.

Они прислушались; усталые мужские голоса, разноязыкая ругань, шорох сена под телами измученных людей. На этот раз конвоиры выкрикивали свои угрозы не перед уходом, а заранее:

— Если какая-нибудь сволочь вздумает спрятаться, застрелим на месте! Только сперва проткнем задницу штыком. Вам от нас не уйти. Не надейтесь! ,

Дурнотный страх отравой растекся по жилам обеих женщин. В первый раз их не нашли, но теперь конвоиры могут оказаться дотошней. Лини зашлась в сухом кашле и испуганно зажала рот обеими руками. Время ползло бесконечно, все туже завинчивая их в тиски тревоги. Вдруг где-то над ними захрустело сено. Все ближе, ближе... Они сжались, словно два морских зверька, для которых единственный способ самозащиты — уйти в облюбованную расщелину в скале. Вдруг в их нору просунулась мужская голова и с маху угодила Лини в плечо. Сдавленный вскрик Лини... Испуганная брань мужчины... А потом они опознали друг в друге заключенных. Даже в полумраке женщины заметили, что голова мужчины, очутившаяся почти у самых их глаз, обрита, а он различил на них платки, какие носили узницы концлагеря.

— Вы что здесь делаете? — прошептал он по-немецки.

— Прячемся,— так же шепотом ответила Лини.

— Вот и я хочу.

— Давай. Только бога ради подальше от нас.

— Идет. Ну пока.— Он пополз было в сторону, но потом снова просунул голову к ним в нору: — Не волнуйтесь, наш этап последний. Я организовал бутылку коньяку!

И, углубившись в сено, он исчез из виду, на сей раз окончательно.

— Господи боже мой!—прошептала Лини.— У меня сердце зашлось.

— Нет, это здорово! Мужчина лучше нас с тобой сообразит,

что делать.

На душе у них стало немного легче. Вот и мужчина этот тоже решил, что в сене вполне можно спрятаться. И уж если он умудрился вынести из Освенцима бутылку коньяку, значит, он лагерник бывалый, нюхом чует, как верней спастись.

— Давно уже они здесь? — спросила Клер.

— Минут двадцать...

— Мне показалось — дольше.

— Ну как ты?

— Ох, устала! Могла б целую вечность проспать.

— А долго мы спали?

— Думаю, несколько часов.

— Пить до чего хочется.

— Мне тоже. *И есть.*

— Это надо же, забыть пайку — вот дурость!

— Зато мы живы. Даже со своей пайкой долго ты еще смогла бы идти?

— Не знаю.

И тут Клер на мгновение дала волю фантазии. Ей представилось: она бредет в бесконечной колонне полумертвых женщин вдоль заснеженных вымерзших полей. Сколько раз за последние два часа щелкали выстрелы... И как ей вообще удалось дойти до этого сарая? Пожалуй, лишь по инерции, среди других... Да еще потому, что у нее сохранилась воля к жизни. Не настолько, впрочем, чтобы донести пайку. Она бросила ее в снег, хотя Лини заклинала ее не делать этого.

— Ни в коем случае не бросай! — твердила Лини.— Хлеб — это жизнь.

— Я не могу его удержать,— отвечала она.— Руки закоченели.

— Тогда съешь.

— Есть не могу. Сил нет.

— Тогда неси. Смотри не вырони. Постарайся.

Она старалась сколько могла, но вскоре пайка вывалилась у нее из рук. Вот и другие женщины тоже побросали хлеб — единственную свою пищу на весь этот день, а может быть, и на следующий — и тем сделали первый шаг навстречу смерти... Так же как и Клер. Последние полчаса пути она уже понимала, что дошла до той крайней степени изнурения, физического и душевного, когда человеком овладевает тупое безразличие и смерть становится желанней жизни. Сколько раз наблюдала она это у женщин в Освенциме, когда они, еле волоча ноги, брели в свои бараки после целого дня полевых работ... У Клер даже мелькнула смутная мысль, что взгляд у нее совсем недавно был

такой же отсутствующий, погасший, как у тех... Но теперь огонек жизни вновь разгорелся в ней, а затеплился он еще в ту минуту, когда она переступила порог сарая. Отчего же? Оттого что пока больше не надо идти... И в сене тепло... И можно поспать... А главное, вновь появилась надежда. Там, на дороге, она уже перестала надеяться, надежда покинула ее после первого же часа пути, потому что ясно ведь: рано или поздно она все равно упадет — как те, чьи тела уже темнеют на дороге. Что же это за штука такая, душа человеческая, почему надежда необходима ей, как телу — влага? Сколько людей, попав в Освенцим, теряли надежду в первые же дни — и через неделю-другую погибали, кто от чего...

Пронзительный свисток, грозный рев конвоира:

— Встать! А ну шевели задницами! На дорогу, строиться!

Лай овчарок, торопливые шаги заключенных, беспрерывное шуршание сена над головой... У беглянок перехватило дыхание. С перекошенными от страха лицами, они замерли, стискивая друг другу руки. Но вот свистки доносятся уже откуда-то снаружи.

И вдруг яростный крик:

— Ага, вон тут один прячется! А ну вылезай, жидовская морда! Отчаянный вопль на ломаном немецком языке:

— Я спаль — я нэ слихаль — я только укриваль сэном для тепло!

— Кру-гом! Эй, мразь, живо!

Им не раз доводилось слышать душераздирающие крики женщин, но чтобы так кричал мужчина... Клер зажала уши. Грохнул выстрел, и крик разом оборвался.

Конца этому нет. Хруст сена под солдатскими сапогами, хриплый лай шныряющих вокруг овчарок, злобные выкрики раскидывающих сено конвоиров.

— Вроде все. Пошли. Выбросить труп! Не дело это, чтобы доброе сено провоняло падалью!

И вот уже заскрипел под множеством ног замерзший снег.

— Он был француз! — всхлипнула Клер.— И что бы ему зарыться поглубже!

— А может, он и в самом деле заснул? Хорошо хоть, что это не тот, не наш.

Они прислушались к удаляющемуся топоту ног, к надсадному лаю овчарок, бегущих по обеим сторонам колонны.

— И как мир узнает об этом? — выговорила наконец Клер.— Как смогут те, кто в глаза не видел Освенцима, поверить, что все это и вправду было?

Они по-прежнему лежали рядом, не разнимая взмокших от пота рук.

5

Вот уже минут двадцать, как топот удаляющейся колонны затих, а они все ждали какого-нибудь знака от того мужчины, что прятался в сене. Наконец он дал о себе знать — довольно-таки залихватской речью:

— Порядок, девушки! Меня чуть было не насадили на штык, но вот он я, целехонек — ха-ха! Все спокойно, вылезайте и тяпните коньячку. Норберт, ты что там, заснул, старик? А ну покажись, красавчик, где ты есть?

— Слыхала? — обрадовалась Клер.— Тут еще один.

Стоя на коленях, они торопливо раздвигали над собой сено, пока не выпрямились во весь рост. Света сразу прибавилось, дышать стало легче. Тогда они поползли наискосок — все выше, выше, и вот уже головы их выпростались из сена.

— Отдохну,— еле выговорила запыхавшаяся Клер.

— Мы метра на два... — начала было Лини, но тут же удивленно смолкла: тот человек, что их окликнул, стоял рядом с бутылкой в руке, а из сена вылезали еще трое. Вертя головами, беглецы с любопытством разглядывали друг друга.

— Ха-ха! Да тут целая компания собралась! — возбужденно объявил человек с бутылкой.— С освобождением вас, товарищи! — Потом представился: — Отто Майер, к вашим услугам, девушки! Миллион лет не видел женщин. Надо же — вы такие чумазые, а для меня все равно красотки! Выпейте коньячку. Вот жареной уткой разжиться не удалось, что поделаешь. Чем еще могу служить?

— Помогите ей, пожалуйста, выбраться,— попросила Лини.— Она совсем обессилела.

Отто поставил бутылку, засунул обе руки в сено и, ухватив Клер под мышки, вытянул ее.

— Да в тебе, сестренка, и весу-то ничего не осталось, совсем мусульманка[3].

— Не называйте меня так! — сердито оборвала его Клер, но ей тут же стало совестно за свою вспышку: ведь она и впрямь страшно исхудала, так что обижаться нечего.— Извините. И спасибо, что помогли.

С покаянным видом Отто пробормотал:

— Да я это так, в шутку.

— Понимаю.

Стряхивая с одежды сено, все шестеро стали в кружок; мужчины инстинктивным движением вытащили из карманов круглые полосатые лагерные шапки и поспешно нахлобучили их

на обритые головы. Растерянные, до глубины души потрясенные тем, что они на свободе, что нет вокруг ни колючей проволоки, ни охранников, они молча, с неуверенной, напряженной улыбкой разглядывали лагерные знаки друг друга — цветные треугольники, какие носили заключенные Освенцима[4]. Оказалось, что из них только одна Лини — еврейка, двое — немцы, один — поляк, один — русский, все мужчины и Клер — политические. У Клер кроме красного треугольника с буквой «ф» (француженка, политическая) была еще нарукавная повязка с надписью «Переводчица». Женщины сразу поняли, что поляк и оба немца выполняли в лагере не очень тяжелую работу: хоть они исхудали, но в доходяг не превратились и в отличие от большинства заключенных были в обычной теплой одежде, а не в полосатой лагерной, которую и одеждой не назовешь. Все это говорило о том, что они имели возможность «организовывать» на черном рынке Освенцима кое-какую еду и носильные вещи.

— Ну, стало быть, так — мы на свободе! —воскликнул Отто после короткого молчания, и его серо-зеленые глазки радостно засверкали. Внешность у него была ничем не примечательная: рост чуть ниже среднего, лицо изжелта-бледное, с резкими чертами.— По-немецки все говорят? А то мы с товарищем никакого другого языка не знаем.

Первым отозвался поляк, очень красивый, молодой:

—Я жил в Силезии, так что немецкий знаю. Но лучше вы говорите медленно, да-а? — И он улыбнулся ослепительной, белозубой, мгновенно гаснущей улыбкой.

— Говорить могу плохо совсем,— сказал русский,— но понимаю. Зовут Андрей. Солдат, Советская Армия.

Был он высокий, невероятно худой, с измученным лицом и, так же как обе женщины, в полосатой лагерной одежде. Чтобы расслышать, что говорят другие, приставлял к правому уху согнутую лодочкой ладонь.

— Мы обе говорим по-немецки,— сообщила Лини.— А моя подруга знает еще польский и русский.

Андрей весь так и засветился радостью. Взволнованно спросил Клер, не русская ли она.

— Француженка,— ответила Клер и усмехнулась: до того разочарованный был у него вид.

— Товарищи, нам надо сразу же кое о чем договориться,— объявил второй немец. Могучего телосложения человек с волевым, спокойным лицом, он явно был старше их всех — на вид ему было лет сорок шесть.— С этапа нам бежать удалось, но что нас ждет впереди, неизвестно. Как будем пробираться дальше — поодиночке или вместе?

Отто вытащил пробку из бутылки с коньяком, уже наполовину опорожненной:

— Я считаю — вместе. Ты посмотри на девушек — им одним не сдюжить.

— Вместе,— поддержал его поляк.

Андрей кивнул:

— Вместе. Так делать правильно.

Лини и Клер переглянулись.

— Ой, ну конечно! — ответила Лини за них обеих.

Беглецы разом заулыбались.

— Все за одного, один за всех! — с подъемом воскликнул Отто.— Выпьем по такому случаю! — И он протянул бутылку Лини.— На-ка согрейся. Нам с Норбертом это весь день дух поднимает. Тебя как звать?

— Лини.

— Коньяк... В нашем-то состоянии... — засомневалась Клер.— Что из этого получится?..

— А вот — единственный способ проверить! — весело объявила Лини, сделала маленький глоток, ухмыльнулась и глотнула снова.— Спасибо! Теперь я уж точно знаю, что вырвалась из лагеря!

Карие глаза ее горели, скуластое исхудалое лицо с потеками грязи так и сияло.

— Что значит услышать женский голос! Теперь и мы, мужчины, знаем, что вырвались из лагеря! — И Отто передал бутылку Клер.— А вас как звать?

— Клер.

Едва пригубив, она вернула ему бутылку.

— Вы даже губ не смочили.

— А больше боюсь.

— Так делать правильно,— поддержал ее Андрей. Отто хмыкнул, передал бутылку поляку.

— Ну а тебя как зовут?

— Юрек. Спасибо.— И он с наслаждением отхлебнул из горлышка.

— А меня — Норберт.— В голосе второго немца пробилось тщательно скрываемое нетерпение.— Давайте уточним свои запасы. Что у нас из еды? — Он вытащил из кармана куцего пиджака ломоть черного хлеба.— Это все, что у меня есть.— И, взяв у Юрека бутылку, он сделал несколько торопливых глотков.

— А у нас и вовсе ничего,— сказала Клер.

Юрек молча протянул пустые ладони.

Андрей, беря одной рукой бутылку, другой расстегнул полосатую куртку и достал кусочек хлеба. Потом жадно прильнул

к горлышку и с явным усилием оторвался, боясь выпить больше, чем ему полагается.

— Ах, спасибо,— хрипло воскликнул он по-русски, возвращая бутылку Отто.

— Ну а ты, Отто? — спросил Норберт.— Удалось тебе организовать на кухне что-нибудь стоящее?

Отто помедлил с ответом. Глоток у него получился чуть более долгий, чем следовало, и, закупоривая бутылку, он глядел на нее чуть дольше, чем нужно. Оттяжка вышла крошечная, едва заметная, но обостренным чутьем лагерников они тотчас же уловили ее.

— Есть кое-что, но далеко на этом не уедешь.

Из одного кармана кожаной куртки он извлек с полфунта конской колбасы, из другого — горбушку хлеба и бумажный кулек.

— Колотый сахар! — объявил он с гордостью.

— Колотый сахар,— севшим от волнения голосом повторила Лини.— Нет, такого просто не бывает.— Покачнувшись, она плюхнулась в сено и весело захохотала.— Я пьяная. А хорошо!

И тут все грохнули, затряслись от смеха, словно ничего смешнее в жизни не видели. Внезапно Норберт смолк, будто его хлестнули по лицу, возмущенно выбросил руки вперед:

— Ш-ш! Тихо! — Все стихли, кроме Лини, и Норберт тряхнул ее.— Довольно! Уймитесь!

— Ой, простите меня.

Бурный приступ веселья прошел, но она все никак не могла сдержать радостного смешка.

— Да что это мы в самом деле? — возмутился Норберт.— Мы же не на луне. Может, тут совсем рядом эсэсовцы шастают. Надо все время смотреть в оба.

— Да, да! — встревоженно зашептал Андрей по-русски. Потом по-немецки: — Мы с ума сойти — так смеяться.

Все еще улыбаясь широченной улыбкой, Отто заговорил быстро, взахлеб:

— Мы сбежали с этапа, остались в живых,— нет, и правда с ума сойти, а? Да я вопить готов, плясать, петь, напиться в стельку, всех перецеловать! Черт побери, мы же на свободе!

— Верно,— согласился Норберт.— Но надо все время быть начеку, иначе плакала наша свобода. Теперь слушайте меня все: еды у нас почти никакой, а мы должны прятаться, пока русские не придут. Как же быть?

— Раньше я для себя так думал,— заговорил Юрек.— Я иду до того крестьянина —ну, кто есть хозяин этого сарая. Я поляк — он поляк. Вот и прошу его накормить меня и спрятать. А теперь,

значит, прошу за всех, та-а-к?

— Нет! — выкрикнул Андрей по-русски и отогнул ладонью правое ухо. Потом пояснил по-немецки: — Вдруг крестьянин — предатель. Что тогда? Он говорит немцам, они нас убивают.

Но в разгоревшемся споре Андрей остался в одиночестве — просто потому, что никаких других предложений ни у кого не было,— и вынужден был подчиниться большинству, хоть и с явной неохотой.

— Вшистко бендже добже.— И Юрек улыбнулся ему своей ослепительной, мгновенно гаснущей улыбкой.— По-польски то значит: все будет хорошо t

Он подошел к двери и, приоткрыв ее, выглянул. Потом распахнул дверь пошире и огляделся. Остальным была видна лишь полоска двора, а в глубине его — угол двухэтажного дома. Юрек выскользнул из сарая, прикрыл за собой дверь.

— Снег перестал,— тихо сказала Клер.

— Перестал? — удивился Норберт и как-то странно посмотрел на нее.— А когда гнали ваш этап, разве шел снег?

— Весь день.

Норберт переглянулся с Андреем и Отто.

— Что вы делали после того, как ваш этап ушел?

— Спали.

— До нашего прихода?

Клер кивнула.

— И ни разу не просыпались?

— Нет.

В голубых глазах Норберта промелькнула откровенная жалость:

— Выходит, девушки, вы проспали двое суток!

Лини приподняла голову с плеча Клер.

— Как это?

— А так. Первые этапы вышли восемнадцатого, тогда снег валил вовсю. Но с тех пор его больше не было. А сегодня двадцатое.

Клер и Лини недоуменно уставились друг на друга. Потом Клер слабо улыбнулась:

— Я могла бы два года проспать.

— Слушайте, девушки, а как это вы решились спрятаться? — спросил Отто.— Ведь из вашего этапа больше никто не рискнул.

— Я не могла идти,— ответила Клер.— Для меня это был единственный выход. Ну, а Лини решила остаться со мной, потому...— Клер улыбнулась.— Потому что это Лини.

— Я вот чего не могу понять,— продолжал Отто.— Почему из мужчин больше никто не решился — только мы четверо?

— Насчет мужчин не скажу, не знаю,—■ ответила Лини.— А женщины до того были измучены, что как дотянулись до сена, так сразу и уснули. Вот хоть я, к примеру. Если б не Клер, до подъема бы проспала.

— И мужчины то же самое,— вставил Норберт.— Так были измочалены — уже ничего не соображали. Да и вообще эсэсовцы давным-давно выбили из них самую мысль о побеге. На этот счет они специалисты.

— А как же вы оба? — удивилась Лини.— Вы разве меньше других устали?

— Мы с Отто — бывалые лагерники. Мы лучше питались и, когда вышли с этапом, были все-таки в лучшей форме, чем остальные. Вот и решили бежать при первой же возможности — понимали, что по такой погоде не дойдем, погибнем.

— А вы? — обратилась Клер к Андрею.

— А я всегда про одно задумывал—бежать. Такая моя... — Он запнулся, подыскивая нужное слово, потом стал что-то объяснять Клер по-русски.

— Такая у него психология,— перевела Клер.— Он уже раз бежал — из лагеря для военнопленных.

— Вот это да! — восхитился Отто. Потом взволнованно: — Слушай, ты когда попал в плен?

— Уже семь месяцев назад — в прошлый год, в июле.

— А ты не знаешь, как там американцы и англичане — вторглись во Францию?

— Да, это так. Вторжение было еще до того, как я попадал в плен.

— Ага, Норберт, ну что я тебе говорил! — обрадовался Отто. — Ты в лагере уже так давно, что вообще ничему не веришь.

Норберт пожал плечами, улыбнулся.

— Выходит, Гитлера теперь и на востоке гвоздят и на западе, а? — счастливым голосом спросил он Андрея.

— «Гвоздят» — что это такое?

— Бьют, значит.

— Да, да! В этот год, я думаю, его кончают.

— А я совершенно уверена, что союзники уже в Германии,— вставила Клер.— Я слышала, офицеры гестапо говорили об этом между собой.

Отто снова вытащил бутылку с коньяком.

— Осталось маловато, но такие новости как не вспрыснуть? Начнем с тебя, Лини, а?

Но Лини со смехом отмахнулась.

— Нет,— сказал и Андрей.— Мне больше нет. Спасибо.

Передавая бутылку Норберту, Отто слегка подтолкнул его

локтем, и они отошли в сторону.

— Если не разживемся жратвой у этого мужика, тогда что?

Норберт пожал плечами:

— Тогда и будем думать.

Длинное, заострившееся лицо Отто стало жестким.

— Не для того я семь лет в этом пекле выдюжил, чтоб теперь околеть с голоду.— Он сунул руку в карман брюк, вытащил завернутый в тряпку длинный армейский нож и с жидкой улыбкой сказал: — Капо[5] с нашей кухни купил на той неделе у эсэсовца. А я вчера у него спер.

— Ну и что?

— А то, что лучше пускай полячишка гонит жратву, иначе...

— Убери нож.

— Ты мне не ответил.

— Нет, ответил. Я сказал: убери нож. Мы не фашисты, верно?

Отто скривился.

— Да ну, трепотня это все,— буркнул он и отошел.

А Норберт взволнованно зашагал по сараю.

6

Андрей обратился к Клер по-русски, очень почтительно:

— Разрешите присесть рядом с вами?

— Конечно, пожалуйста.

— Мне хотелось спросить... — Он вдруг умолк, подался вперед.— Да у вас ноги отморожены!

Клер кивнула.

— Их необходимо растереть. Это же очень опасно.

— Знаю, но на радостях я совсем про них забыла. Вот только вы сейчас напомнили.

— Позвольте! — Он с силой нажал ей на ногу.— Вы уже два дня в тепле и все еще не чувствуете боли?

— А что, это плохой признак?

Он оставил ее вопрос без ответа.

— Надо сейчас же растереть ноги! Начните сверху и спускайтесь от бедра вниз. Но стоп не трогайте.

— Спасибо. Так я и сделаю, не знаю только, надолго ли меня хватит. Я очень ослабела.

— Да и вообще лучше, чтобы это делал кто-то другой, не вы сами. Если у вашей подруги сил маловато, тогда кто-нибудь из нас. Тут стесняться нечего. Начинать надо сию же минуту и массировать не переставая.

— А может, растереть снегом?

— Нет, ни в коем случае. Как раз этого-то и нельзя. Не могла бы ваша подруга взяться за дело сейчас же? Или она совсем сонная?

Клер окликнула Лини, и та подняла голову.

— Да ничего, я справлюсь,— пробормотала она.— Только пить ужас как хочется. Притащил бы кто снегу пожевать, а?

Но Андрей возразил ей по-немецки:

— Так делать неправильно, нам выходить нельзя. Вы ждите Юре- ка, просите у него воды.— Затем обратился по-русски к Клер: — Объясните ей, как делать массаж.

И, приставив к уху ладонь, стал вслушиваться в разговор женщин, внимательно следя за тем, как Лини усаживается напротив Клер, укладывает ее ногу к себе на колени. Но вот Лини приподняла полосатое лагерное платье подруги и грубую рубашку. Клер так и ожгло смущение — и она сразу поняла почему. Когда их транспорт прибыл в Освенцим, ее обрили, заставили раздеться и вытатуировали на руке номер, причем женщины-заключенные проделывали все это с вновь прибывшими на глазах у охранников, но тогда Клер не испытывала стыда,

потому что для нее эсэсовцы были не люди, не мужчины. И если теперь она застеснялась, значит, она снова в реальном мире и на нее снова смотрит мужчина, человек, и смущает ее не то, что пришлось обнажить ногу у него на глазах, а сознание, что в облике ее осталось так мало женского. «Видно, во мне опять пробуждается женщина»,— подумала она с дрожью в сердце.

— Сверху вниз? — спросила Лини Андрея.

— Да, и вот так.

Он сделал несколько круговых движений.

Подошел Отто, постоял, глядя на них, и спросил Клер:

— Вы что, босиком шли?

— Нет, в башмаках, но потом, уже здесь, сбросила их.

— Где же они?

— Где-то тут, не знаю.

— Ой, будь другом,— вмешалась Лини.— Когда мы зарывались в сено, то и одеяла бросили, и мою пайку. Может...

— Сейчас поищу.

Андрей снова заговорил с Клер:

— Ну а теперь — откуда вы знаете русский?

— Мой дед родился в России, а бабушка — в Польше. Они меня и учили, а потом я занималась русским в Сорбонне. Это университет в Париже.

— Ясное дело,— усмехнулся Андрей.— Сорбонна — университет, а не гречневая каша. Думаете, мне это неизвестно?

Клер смущенно улыбнулась:

— Но ведь мы совсем не знаем друг друга.

— А Дебюсси — не сорт сыра,— беззлобно поддел ее Андрей и тут же принялся напевать что-то из Дебюсси. Клер слушала с удивлением и интересом.

Снова подошел Отто.

— Ни башмаков, ни одеял, ни хлеба!

— Тсс! — с улыбкой сказал Андрей.— Это Дебюсси — в честь наш французский товарищ.— И он снова принялся напевать, водя в такт пальцем. Вдруг дверь с шумом распахнулась. Он смолк. Разом насторожившись, все уставились на вошедшего Юрека. В руке у него был карандаш и клочок бумаги.

— Ну что? — спросил Норберт.

— Еды он нам даст. А прятаться здесь — нет. То будет слишком опасно, дорога проезжая. Ночью мы должны уйти.

Молчание.

— Он прав,— решительно объявил Норберт.— А он не сказал, куда нам податься?

— Там, за лесом, деревушка, Стара Весь.

— Далеко?

— Три километра.

— А знает он в этой деревушке кого-нибудь, кто мог бы нас спрятать? — спросил Отто.

Юрек пожал плечами.

— Там видно будет... Он требует от нас бумажку. Говорит, мы должны написать по-русски, что мы есть шесть заключенных, утекли из Освенцима и он нас спас. Требует наши фамилии и номера.

Андрей воскликнул:

— Ну вот! Начинается! Не он нас спасал, мы сами себя спасали. Может, там никакой деревни нет, где он говорил.

Снова вспыхнул спор, и снова Андрей остался в одиночестве. Все сошлись на том, что другого выхода нет. Сердито пробормотав что-то себе под нос, Андрей достал карандаш и стал писать. Отто вдруг опустился на колени рядом с Клер, зашептал ей в ухо:

— Вы знаете русский. Проследите, чтоб все было правильно, как оно есть.

Когда бумажка попала к Клер, она, прочитав ее, написала свою фамилию и номер и молча передала ее Отто.

Юрек двинулся было к двери, но его остановил Норберт.

— Погоди-ка. Придется у него еще кое-что попросить.— Он показал сперва на Андрея, потом на обеих женщин.— Им надо переодеться. А вот ей,— он кивнул в сторону Клер,— нужно что-нибудь на ноги.

— И воды! — добавила Лини.— Ради бога, немножко воды.

Юрек молча кивнул и вышел.

Андрей заговорил с Клер по-русски:

— Если у этого поляка не найдется для вас туфель, не волнуйтесь. Я сделаю вам обувку из сена.

— Как это?

— А вот увидите. Скажите своей подруге — пусть теперь помассирует правую ногу. Пять минут правую, пять минут левую — попеременно.

Пока Лини пересаживалась, Андрей толкнул Отто локтем и едва заметным кивком отозвал его в сторонку; затем они вместе подошли к Норберту — тот лежал, наморщив в раздумье лоб, и жевал сухую былинку.

Андрей негромко сказал ему:

— Слушай меня, пожалуйста. Француженка слабый, как ребенок. Женщины надо кушать больше.— Потом повернулся к Отто: — Ты отдавай им всю колбаса, ладно? Так делать правильно.

И опять Отто какую-то долю секунды помедлил с ответом.

— Что ж, пожалуй, верно. Как скажешь, Норберт?

— Правильная мысль. Но... — это уже Андрею,— ты ведь и сам, можно сказать, мусульманин.

Андрей замотал головой:

— Теперь я свободный и быстро стану сильный. Больше не хожу в команда на полевые работы.— И он усмехнулся.

— Может, все-таки спросим Юрека? — предложил Отто.

Дверь распахнулась.

— Вот и он, спрашивай,— ответил Норберт.

За Юреком, тащившим ведро воды, в котором плавал черпак, шел высокий, крепко сколоченный крестьянин лет пятидесяти в грязном овчинном полушубке. Норберт встал, подошел к нему, протянул руку и поблагодарил его по-польски.

Крестьянин молча кивнул, пожал ему руку. Потом, показав на Андрея и Клер, бросил что-то Юреку хрипловатым голосом и ушел.

— Для Андрея одежда есть,— перевел Юрек.— Для Клер, может, найдется, для Лини — нет. Я еще раз схожу до хозяина, принесу.

Тронув его за руку, Отто сказал ему шепотом, как они порешили насчет колбасы.

Юрек кивнул в знак согласия, добавил только, что жена хозяина поставила варить картофельную похлебку и лучше бы оставить побольше колбасы на потом.

Клер и Лини жадно пили, передавая друг другу черпак, когда к ним подошли Отто, Андрей и Норберт.

— Ну так, девушки,— добродушно проговорил Отто.— Мы, мужчины, решили маленько вас подкормить. Вот, получайте.— Он достал из кармана колбасу.— Это будет только вам.

— А еще немножко хлеба.— И Норберт протянул Лини горбушку, сбереженную им во время перехода.— А то у вас двое суток крошки во рту не было.

Андрей молча протянул свой хлеб Клер.

Но женщины не соглашались — надо все поделить поровну, настаивали они.

— Большинством голосов предложение отклоняется,— объявил Отто.— Вы представить себе не можете, до чего это здорово — снова увидеть женщин.— И он отрезал каждой по изрядному куску колбасы.— Больше пока не будет — нам варят картофельную похлебку.

— Ну если так,— растроганно улыбнулась Лини,— нам остается только сказать спасибо.

А Клер поглядела на хлеб с колбасой, лежащий у нее на ладони, и тихонько заплакала.

— В чем дело? — удивился Отто.

— Вы так к нам добры... В первый раз за два года мужчины обошлись с нами по-человечески...

— Ах ты, господи! — воскликнула Лини, за обе щеки уплетая колбасу.— Вот и радовалась бы, а она — в слезы. Вечно она со своей чувствительностью! Только такая, как ты, и может из-за этого сырость разводить.

Глава вторая. ЗАВОД

1

Под вечер, когда уже стемнело, беглецы вышли из сарая по двое: Юрек и Норберт впереди, за ними метрах в пятнадцати обе женщины, Андрей и Отто — замыкающие. Лини по-прежнему была в полосатой лагерной одежде, а Клер и Андрей переоделись, и оба выглядели довольно странно. На Клер были вельветовые брюки, бумазейная рубаха, фуфайка и суконная курточка — все с худющего, долговязого подростка лет четырнадцати, как потом выяснилось — хозяйского сына, умершего в прошлом году. Клер страшно обрадовалась этим обновкам, потому что они были теплые и пришлись ей в самый раз, прямо на удивление; но она до того напоминала в них отощавшего мальчишку-подростка, что платочек у нее на голове выглядел просто нелепо. А вот Андрею не повезло: он получил изношенную одежду хозяина, прослужившую тому добрый десяток лет. Замызганная, продранная, вся в разноцветных заплатах одна на другой, она болталась на его исхудавшем теле как на вешалке. Не поймешь — то ли огородное пугало, то ли клоун на манеже. Когда Андрей и Клер надели эти обноски, грохнул взрыв хохота.

...Выйдя из сарая, беглецы перешли дорогу и сразу же углубились в лес. Шли молча, настороженные, полные страха. Они так привыкли чувствовать себя заключенными, что в темном лесу их тотчас же обступили призраки: отовсюду глядели гнусно ухмыляющиеся хари охранников-эсэсовцев, готовых спустить на них овчарок — злобных тварей, натасканных на человека, норовящих искромсать ему лицо, пах, бедра.

Но как ни томила их тревога, всех лихорадило от радостного волнения и надежды: ведь им и вправду удалось бежать, они и вправду на воле!

Шли медленно — из осторожности и из-за Клер. Башмаки хозяйского сына оказались ей непомерно велики, и Андрей сдержал обещание — сделал ей обувку из сена. Терпеливо обертывал он ей ноги, навивая сено слой за слоем и обвязывая его скрученными все из того же сена жгутами. Поначалу Клер опасалась, что «сапожки» тут же развалятся; но нет, они пока выдерживали переход по снегу и были такие мягкие, теплые — сущее спасение для обмороженных ног, уже начинающих чувствовать боль.

Юрек вел их, как научил его крестьянин, наискосок через лес — туда, где, если верить ему, должна находиться деревушка. Кругом ни души, ни единого следа на снегу, ни единого звука — лишь поскрипывает под ногами наст да время от времени откуда-

то сзади доносится отдаленная, едва слышная канонада. Снег был неглубокий, по щиколотку, и идти было довольно легко; зато мороз пробирал до костей. Но и его они сносили с привычной стойкостью. Ведь они приучились терпеть муки пострашней холода — постоянный голод и вечный страх, ужасающий смрад сжигаемых в крематориях трупов, все надругательства, какие только может вынести человек,— и остаться в живых. И это связывало их прочными узами горького братства.

Луна поднялась рано — полная, яркая. И когда лучи ее пронизали лес, беглецов словно бы отпустило немного, но они по-прежнему шли в молчании. Через час пути лес начал редеть. Еще десять минут — и передние остановились. Остальные подтянулись к ним, и Юрек молча показал вперед: шагах в двухстах виднелось длинное кирпичное здание в два этажа.

— Пришли,— зашептал он.— Крестьянин мне говорил: где пустой завод, там и деревня близко.

Все торжествующе заулыбались, разом уставились на Андрея — выходит, зря он твердил, что на хозяина полагаться нельзя, хоть тот хорошенько их накормил и снабдил одеждой.

Андрей молча развел руками.

— Ждите тут,— снова зашептал Юрек, растирая замерзшие уши.— Пойду посмотрю.

— Гляди в оба,— предупредил Норберт.

Но Юрек только улыбнулся, беззаботно махнул рукой:

— То есть моя отчизна. Вшистко бендже добже!

— Стой!—Лини схватила Юрека за рукав:—Нет, ты посмотри! — И она показала сперва на красный треугольник с буквой «П» у него на груди, потом на его полосатую шапочку лагерника.

— Черт подери! — ахнул Норберт.— Мы столько пробыли в лагере, что ничего этого уже не замечаем. Надо все время быть начеку.

— Ну, ну, ничего ведь не случилось,— весело сказала Лини.

И пока Отто спарывал красные треугольники с куртки, рубашки и брюк Юрека, Клер объясняла мужчинам, до чего Лини практичная.

— Если нас .приводили на вещевой склад и приказывали за две минуты подобрать себе обувь, я выхватывала из кучи два левых башмака, а Лини успевала выудить две пары: одну для себя, другую для меня.

— А как же!—подхватила Лини.— Голландцы — народ хозяйственный. Потому-то Амстердам чище Парижа.

— И красивее,— поддела ее Клер.

— А то как же!

— Клер, как ноги? — прошептал по-русски Андрей.

— Болят.

— Все время?

— Да, боль не прекращается ни на минуту.

— Что поделаешь... Впрочем, это неплохо — значит, возобновилась циркуляция крови.

— Ну тогда слава богу.

— А идти трудно?

— Я сильно устала, но картофельная похлебка — великая вещь!

— И еще сознание, что вы на воле, а?

Клер улыбнулась, кивнула.

— Андрей, почему вы с таким подозрением отнеслись к этому крестьянину? Ведь он поступил с нами очень порядочно.

— Я был к нему несправедлив, готов признать. Дело в том, что когда я бежал из лагеря для военнопленных, то здорово обжегся. Пробирался, само собой, ночами, трое суток голодал, и пришлось мне зайти в крестьянский дом. Хозяин накормил меня и уложил спать, а наутро пожаловали эсэсовцы.

Отто помахал у Юрека перед носом тремя споротыми красными треугольниками.

— Ну как, может, сохранить это для тебя? Сувенир из Освенцима!

Юрек сунул лагерную шапку в карман, усмехнулся:

— Здесь дамы. Потому я лучше промолчу, та-ак?

И он двинулся к заводу. Все смотрели ему вслед: идет, заложив руки в карманы, голова вскинута — словно и впрямь шагает человек по родной и уже свободной земле.

— Господи, сделай так, чтоб там не было немцев,— со страхом прошептала Лини куда-то в ночь. Голое поле, отделявшее их от завода, было залито лунным светом, и Юрека легко могли заметить даже издалека.— Господи, ну пожалуйста,— вновь забормотала Лини, сама не замечая, что говорит вслух.

Но вот Юрек исчез в глубокой тени, отбрасываемой зданием, и все облегченно вздохнули.

— Слушай-ка, Отто,— сказал Норберт.— Ведь и мы с тобой еще треугольников не содрали.

Спарывая лагерные знаки с одежды Норберта, Отто задумчиво проговорил:

— Нам-то Юрек нужен, а мы ему нет.

— А по-моему, он человек надежный. И если сказал, что останется с нами, то можно ему верить.

— *И* все-таки мы ему не нужны. А жаль — так было б вернее.

2

Лини и Клер отошли в сторонку — облегчиться. Теперь они сидели рядышком на поваленном дереве, сунув руки в рукава.

— Знаешь, о ком я думала всю дорогу? — прошептала Лини. — О моем Йози. Теперь я, может, и правда его увижу, а?

Клер кивнула:

— Ему уже семь. Он меня не узнает.

Клер промолчала. В прошлом году Лини говорила: «Ему уже шесть», в позапрошлом: «Ему уже пять, я его целых три года не видела!» Клер всей душой любила Лини, полюбила и малыша, о котором Лини рассказывала ей десятки тысяч раз; знала адрес друзей Лини в одном из предместий Амстердама, у которых она его оставила; свято обещала усыновить мальчика, если Лини не выйдет из лагеря живой; но давно уже исчерпала все мыслимые ответы на тоскливые, неуверенные слова подруги: «Теперь я, может, и правда его увижу...»

Клер шепнула:

— Ах, какая ночь чудесная! Снег в лунном свете — что-то в этом прекрасное, чистое.

— Иногда я верю, что еще покажу тебе зимний Амстердам — замерзшие каналы, люди на коньках, заснеженные крыши. Прямо как на картинах Брейгеля.

— До чего здесь мирно, тихо. Ах, до чего тихо!—прошептала Клер.— Так бы весь век здесь и сидела.— Потом с глубоким вздохом:— Эти несколько минут без охранников, без собак, что они для меня значат! Теперь и умереть не жаль.

— Ну еще бы,— усмехнулась Лини.— Теперь тебе и умереть не жаль. Француженочка ты моя восторженная! Что с тобой может натворить лунный свет! Вот если бия могла приходить от него в телячий восторг!

Клер рассмеялась:

— А меня вообще многое приводит в телячий восторг, например, картофельная похлебка.

— Потрясающая похлебка, а? Нет, просто потрясающая. А мы с тобой и поговорить о ней не успели.

— Я совсем позабыла вкус молока. Если когда-нибудь попаду домой, напьюсь горячего молочка — буду пить до тех пор, пока оно у меня носом не пойдет!

— А что за картошка! Настоящая картошка! Да понимаешь литы, что мы целых два года человеческой еды не нюхали?

— Еще бы не понимать! С удовольствием сейчас повторила бы, Я опять голодна.

— А сама отдала мне половину своей порции, сказала — больше не можешь!

— При таком истощении, как у меня, есть надо понемножку. Если наесться досыта, можно умереть.

— С чего ты взяла?

— А мне это доктор Одетта объяснила, когда я выздоравливала после тифа. Она сказала — нормальный обед, какой люди съедают дома, меня бы убил.

— Выходит, я вот-вот помру?

— Но ты же не так истощена, как я, значит, твой организм может усваивать гораздо больше, чем мой... Ой, смотри какое облако — словно серебристым пухом подбито! Лечь бы на него и чтобы оно унесло меня в Париж, а по пути чтобы каждые два часа мне была картофельная похлебка! Пока оно долетело бы до улицы Риволи, я опять стала бы похожа на женщину!

— А интересно, как нас находят мужчины?

— Уверена — им хочется, чтобы мы снова обрели человеческий облик. Во всяком случае я. Ты все-таки не такая страшная.

— Этот Юрек красивый, правда?

Тут к ним подошел Андрей и, похлопывая в ладоши, чтобы согреться, зашептал по-русски:

— Клер, вам нельзя на таком холоде сидеть без движения. Или походите, или надо опять помассировать ноги.

— Пожалуй, вы правы. Спасибо.

Андрей отошел, и, глядя ему вслед, Клер перевела Лини его слова.

— Ни на минуту о тебе забыть не может, а? — не без лукавства бросила Лини.— Ну ладно, клади ногу мне на колени.

— Славный он, они все славные. Что бы мы делали одни? До чего же нам повезло, что с нами оказались такие хорошие люди.

— Ой, боже мой, это же еще одно слово, которое знал мой Йозеф. Ест, бывало, что-нибудь вкусное или гладит котенка и приговаривает: «Хо-ло-о-сый!» И за все годы я ни разу об этом не вспомнила, подумать только!

3

Минут через двадцать после своего ухода Юрек вдруг возник из густой тени, отбрасываемой заводским зданием, и теперь был отчетливо виден в лунном свете. Он поманил их рукой и снова шагнул в темноту.

— Пойдемте все вместе,— предложил Норберт.— Клер, постарайтесь идти быстрей — как только можете, ладно? Обопритесь на мою руку, если хотите.

— Стойте! — вмешалась Лини.— Я-то еще в лагерной одежде. И это погубит вас всех, если нас заметят. Так что вы четверо ступайте вперед, а уж я потом...

— Скажете тоже! Пошли!

Лини промолчала, только бросила на Норберта благодарный взгляд.

Двести шагов через поле дались нелегко. Клер из сил выбивалась, чтобы не отставать, и когда они наконец дошли, она тяжело дышала, худые ноги ее тряслись.

— Он пустой, тот завод,— прошептал Юрек.

Все двинулись за ним — обогнули здание, пересекли захламленный двор, где навалом лежали ящики, обрезки железа, битый кирпич и обломки машин, кое-где припорошенные снегом. Фасадом завод был обращен на широкий простор поля, и к середине его вела едва приметная дорожка. Юрек отворил дверь. Проходная, еще одна дверь — и они очутились в пустом помещении, светлом от лунных лучей, проникавших сквозь большое окно.

— Я все осмотрел,— сказал Юрек уже не шепотом, а в полный голос— И второй этаж тоже. Никого. Теперь пойду до деревни. Вы ждите, да-а?

— А где она, деревня? -—спросил Отто.

Юрек показал в сторону, противоположную той, откуда они пришли.

— Но я не видел домов.

— Со второго этажа виден один, метров полтораста отсюда. Верно, то и есть начало деревни.

И Юрек вышел.

— Глотнем коньячку, а? — предложил Отто.

Клер, распростершаяся без сил на полу, едва слышно выдохнула:

— Нет, спасибо.

— У меня предложение,— объявила Лини.— Коньяк пусть будет мужчинам, а нам — по кусочку сахара.

— Ну что ж, сделка выгодная.

С некоторой торжественностью Отто извлек из кармана бумажный кулечек и дал каждой из женщин по два куска сахара.

— Вы так к нам добры,— тихо проговорила Клер и сунула в рот оба кусочка сразу.

— Когда-нибудь вы мне отплатите тем же. Хотите еще по ломтику колбасы?

— Лучше сбережем,— решила Лини и, пристроившись возле Клер, принялась массировать ей ногу.

Мужчины расселись на полу, и бутылка пошла по кругу.

— Каждому только по глотку, идет? — предупредил Отто.

— Ой, до чего сахар вкусный! — вздохнула Клер.— Еще раз спасибо. Какой прекрасный был сегодня день — поели, умылись... И ни собак, ни охранников, ни поверки. Сон какой-то.

— Только бы нам от этого сна не пробудиться,— с нервным смешком сказал Отто.

Лини вытащила из кармана свои два кусочка сахара и стала совать их Клер в руку.

— Не надо,— запротестовала та.

— Ну вот, а сама отдала мне половину своей похлебки!

— А башмаки?

— Ты это о чем?

— Да о твоем подарке ко дню моего рождения. Ведь ты, должно быть, всю ту неделю отдавала за него половину своей пайки!

— Вот еще, целую бухгалтерию развела.— Потом вполголоса: — Клер, сахар тебе необходим. Должны же мы тебя подкормить.

И Клер не стала спорить. На этот раз она грызла сахар мелко-мелко, смакуя каждый сладкий осколочек, каждую крупинку.

— Неплохо бы здесь остаться,— сказал Отто.— Рамы двойные — обратили внимание? Мороз, правда, градусов пятнадцать, но тут мы бы не замерзли.

— Все зависит от того, удастся ли раздобыть еду и нет ли поблизости немцев,— ответил Норберт.— Мы оставили следы на снегу, вот что плохо.

Андрей сразу же поднялся, подошел к широкому, в треть стены, окну и стал у косяка — так, чтобы снаружи его не было видно. Оглядывая поле, он что-то рассеянно напевал себе под нос.

— Что вы поете? — поинтересовалась Клер.

Ответа не последовало.

— Туг на ухо, ясно,— прошептала Лини и растянулась рядом с Клер.— Что-то я выдохлась. Растирать тебе ноги — работа не из легких, надо полежать немножко.

— Ну конечно. Помнишь то чудесное облачко?

— Оно так и стоит у меня перед глазами.

— Ну и любуйся на него. А я лучше буду глядеть в витрину гастрономического магазина у нас в Амстердаме. Нет, передумала. В витрину кондитерской — на торты!

4

Прошло около часа, и Норберт, сменивший у окна Андрея, сообщил, что возвращается Юрек. Тот вошел, растирая замерзшие уши и улыбаясь своей ослепительной улыбкой.

— Нам очень сильно везет,— радостно объявил он.— Захожу до первого дома, да-а? Хозяина звать Кароль. Сперва тот Кароль ничего не говорит, он осторожный. Требует — покажи номер, тебе же его накололи в Освенциме. Говорю ему: до лагеря я был партизан. Тут он делается добрый, но все равно спрашивает дальше. Много всего спрашивает. Потом уже поверил и говорит: буду вам помогать сколько смогу. О, то есть настоящий патриот!

Сперва раздался дружный вздох, словно во время рассказа Юрека никто не осмеливался дышать, потом все обрадованно зашумели.

— Да ты просто чудо! — воскликнула Лини.

А Норберт хлопнул Юрека по плечу:

— Никому из нас этого бы в жизни не провернуть!

— Он даст нам еду,— оживленно продолжал Юрек.— Сам он есть бедный человек, он будет ходить до соседей, собирать что можно.

— А если мы тут останемся, это не опасно? — спросил Андрей.

-— Опасно? Не-е-т! В деревне немцев нету. Она совсем маленькая, та деревня. После жатвы немцы до них не приходили ни разу.

И Юрек рассказал, что крестьянин поставил два условия: не зажигать огня и не выходить из помещения — никому, кроме Юрека, а его он в случае чего выдаст за родственника. Как видно, Кароль не очень доверяет кому-то из соседей. Обнаружат немцы беглецов — всей деревне несдобровать. А значит, если их заметят, кто-нибудь может просто из страха донести в гестапо, в Катовице. Это единственная опасность.

— Выходит, мы тут спокойненько просидим до прихода русских! — обрадовался Отто.— Юрек, ты награждаешься золотой медалью... Медалью за... Сам не знаю за что.

— А теперь я опять иду до Кароля,— объявил Юрек.— Его сестра готовит нам ужин.

— Как, снова будем есть? Ведь совсем недавно поели,— блаженно проговорила Клер.— Нет, мы из Освенцима попали прямо в рай.

— Погоди-ка,— остановил Норберт Юрека.— Спроси Кароля, не найдется ли у него какой-нибудь одежды для Лини.

Юрек кивнул.

— И вот еще что,— попросила Лини.— Не мог бы ты принести нам воды помыться?

— Ой! — оживилась Клер.— Может, у него и кусок мыла найдется, как вы думаете?

— И хорошо бы парочку одеял,— добавил Отто.

Юрек расхохотался.

— О, то есть просто бедный крестьянин, то не есть универсальный магазин в Варшаве! Но я попрошу. Там видно будет.

Все притихли. И он вышел.

5

Кое-кому из беглецов уже думалось о доме, о близких, о родном городе. Только существуют ли они еще — родной дом, близкие, родной город?

«Не разрушен ли Росток?» — вертелось в голове у Норберта.

«Там ли еще Йози? — спрашивала себя Лини.— Вдруг я вернусь в Амстердам целая и невредимая, а он...»—Она не позволяла себе об этом думать.

Молчание нарушила Клер, заговорившая с Андреем по-русски. Она спросила его о самом для них важном: скоро ли русская армия будет здесь? Андрей пожал плечами: кто знает? В последние месяцы наступление развертывается стремительно. Может, до прихода русских остались считанные дни, может, их задержат неделю-другую на нынешних позициях, а может, они начнут наступать на других участках фронта и здесь окажутся лишь через несколько месяцев.

Клер перевела его слова остальным. Не такой ответ хотелось бы им услышать...

— Ну а орудия, что мы недавно слышали, они далеко? — спросил Норберт.

— Километров двадцать — двадцать пять. Но это немецкие, а русские очень, очень дальше.

— Раз так, будем здесь жить-поживать, пока не явятся русские,— весело объявила Лини.— Вот и хорошо! Клер, давай-ка примемся за другую ногу.

К женщинам подошел Отто: в одной руке колбаса, в другой — нож.

— Теперь экономить незачем. Съешьте еще по кусочку, а?

Клер и Лини благодарно закивали, Отто улыбнулся и стал откровенно их разглядывать.

— А как вы, девушки, угодили в Освенцим? Надо ведь нам побольше узнать друг о друге. Что вы на это скажете?

— Вот давай с тебя и начнем! —предложила Лини.

— Женщин послушать интереснее.

— Зато вас, мужчин, больше.

— Ну что ж, в таком случае поехали.— И он уселся напротив них, поджав под себя ноги.— А ты, Норберт, заткни уши. Ведь он знает обо мне все, как и я о нем. Мы друг другу уже изрядно поднадоели.— Отто хмыкнул. Андрей подсел к нему и приставил к уху ладонь. Норберт лежал чуть поодаль, закинув руки за голову.— Родом я из Вены,— начал Отто.— Мой старик был социалистом, потому я здесь и сижу. Если б не это, кто знает, где

бы я был...

— Был бы в гитлеровской армии,— перебил его Норберт.— И может, давно бы отправился на тот свет или стал калекой. Это, по-твоему, лучше?

— Кто говорит, что лучше? — огрызнулся Отто.— У нас с тобой об этом говорено-переговорено. Я просто излагаю факты, вот и все. И не перебивай меня... Так вот, помнит кто-нибудь из вас венское восстание тридцать четвертого года?

— Я — нет,— чуть слышно проговорила Клер.

— А я очень хорошо помню,— сказала Лини.— Правительство шло к фашизму, и социал-демократы решили этого не допустить, правильно я говорю?

— Более или менее. В общем, я угодил в самую заваруху. Моя семья жила как раз в том районе, где были сосредоточены главные силы шуцбунда — социал-демократической вооруженной организации. Правительственные войска окружили нас и давай лупить из пушек. А было мне в то время... Слушайте, девушки,— спросил он вдруг,— сколько мне сейчас можно дать?

Женщины замялись. Лини подумалось, что он выглядит лет на тридцать пять, Клер дала ему примерно столько же, но обе знали, что делает с человеком лагерная жизнь и как уродует обритая голова.

— Лет тридцать? — отважилась наконец Лини.

— Тридцать! — сдавленным голосом повторил Отто.— Да мне двадцать четыре! — И он с горечью выкрикнул: — Эти псы украли у меня семь лет жизни! Ух, черт, попадись мне в руки хоть один наци, хоть один!

— Почему же только один? — сухо возразил Норберт.

— Ну давай дальше про Вену,— поспешила вмешаться Лини.

— Да-а... Так вот, во время восстания мне было тринадцать. Мой старик командовал шуцбундовским отрядом нашего квартала. Я бегал туда-сюда, передавал приказы, таскал патроны, а в последний день и стрелял. Ну после этого они нам устроили темную жизнь, ничего не скажешь. Моего старика и еще многих упекли в концентрационный лагерь. Через год его выпустили. А я тем временем стал ярым социалистом — вступил в молодежную организацию и вообще вообразил себя этаким деятелем, даже речи толкал. Еще по кусочку ростбифа, девушки?

— Одной Клер,— ответила Лини.

Клер заартачилась было, но Лини сказала:

— Ты бы сама отказалась в мою пользу, если бы я была слабей тебя, и то же самое мы обе сделали бы для мужчин, будь это им необходимо. Так что кончай эти глупости, слышишь?

— Так говорить правильно,— поддержал ее Андрей.

А Отто протянул Клер кусочек колбасы:

— Дают — хватай, вот мой девиз.

— Спасибо. Ну дальше, пожалуйста...

— Да, так вот. Перескакиваю сразу в тридцать восьмой год — в марте того года Германия нашего друга Норберта захватила мою Австрию...

Лежавший на полу Норберт рывком сел, резко бросил:

— Австрию захватила гитлеровская Германия, а не моя. Моя Германия в ту пору либо была истреблена, либо гнила по тюрьмам, либо не могла подать голос.

Отто расхохотался:

— Видали, девушки? Нажать нужную кнопку — и он тут же вспыхивает, как лампочка.

— Ты лучше рассказывай дальше,— встревоженно попросила Лини.

— Ну, пожаловало к нам гестапо, принялось чистить Австрию. Мне в ту пору было семнадцать, и я был влюблен впервые в жизни, ха-ха! Словом...— Он присвистнул, ударив ладонью о ладонь, будто смахивая с них что-то.— Словом, я ахнуть не успел, как вместе со своим стариком очутился в новехоньком санатории «Маутхаузен». Тут тебе и уколы — вшей и клопов хоть отбавляй, и холодный душ — по шесть часов на коленях под дождем во время поверок, и все прочие процедуры. Моего старика в первый же месяц забили насмерть. В общем, до сорок третьего Маутхаузен, потом Освенцим. И с того самого часа, как меня забрали, до нынешнего дня я ни разу не видел женского лица, разве только эсэсовок. Семь лет! Так что вы не рассердитесь, если завтра я целый день буду на вас пялиться, а? Сегодня я старался быть джентльменом.

— Семь лет! —шепотом выдохнула Клер.— И как вы только выдержали!

А Отто со своим торопливым нервным смешком:

— Наверно, я двужильный.

— Одного этого было бы мало,— вставил Норберт.— Тут еще и везение и много чего другого.

— Норберт — он ведь все на свете знает... — начал было Отто, но вдруг застыл, и остальные тоже замерли: со двора донеслось какое-то звяканье, потом скрип отворяемой наружной двери. И снова звяканье.

Норберт вскочил:

— Не иначе как Юрек! — И он рывком распахнул внутреннюю дверь.

Все с облегчением рассмеялись — это действительно был Юрек, навьюченный, как разносчик в начале дня: в правой руке

три ведра, одно в другом, в левой — большая плетеная корзинка, за спиной — картонный чемодан. Норберт отвязал чемодан, и Юрек, отдышавшись, сказал со смехом:

— Я все выпросил, будто я есть их родственник. Тут два одеяла, одежда для Лини. Одежду дала сестра — Кароль симпатичный, и сестра тоже.— Из верхнего ведра он извлек ложки, вилки и стопку мисок — все деревянное. Затем вытащил из кармана долото: — Это — пробивать лед в колодце. Тут, у завода, колодец, потом пошукаю.

— А мыло? — нетерпеливо спросила Клер.

— Мыла нет, полотенец нет, соли нет, молока нет — после жатвы до деревни приходили немцы, забрали у Кароля последнюю корову. Зато... — тут от открыл корзинку,— хлебца вам принес и вон сколько горячей капусты с картошкой.

— Капуста! — ахнула Лини.— Бог ты мой!

— Кароль есть добрый человек, не-ет? — с гордостью спросил Юрек.

— Вот бы нам поблагодарить его лично,— горячо воскликнула Клер.

Андрей что-то быстро проговорил по-русски, и Клер перевела: когда придут его товарищи, Кароль будет вознагражден с лихвой за все, что он для них сделал.

— Эй, а водочки организовать не догадался? — спросил Отто.

— Он предлагал большую бутылку, да я не взял,— небрежно уронил Юрек.

— Не взял?!

— Я водки не люблю, только французский коньяк.

— Ты что... — зашипел Отто.— Видно, совсем...

Юрек так и покатился со смеху:

— Да я шучу. Нет водки, нет.

Тут в третий раз за день грохнул взрыв хохота. И не так уж это было смешно — просто беглецам необходима была разрядка.

— Ну что ж,— сказала Лини, когда веселье улеглось,— давайте поедим, пока все горячее.

— До завтрашнего вечера больше ничего не будет,— предупредил Юрек.— Так что хорошо бы нам немного оставить на завтра, не-е-ет?

— Ну-ка, Лини, похозяйничайте,— попросил Норберт.— Разделите все на три раза.

— Идет. Только поставьте корзинку туда, где посветлее, ладно? А то мне ничего не видать.

Луна тем временем успела переместиться и теперь освещала лишь дальний конец помещения. Все перешли туда. Вскоре каждый получил полную, с верхом, миску горячей капусты с

картошкой и толстый ломоть серого хлеба домашней выпечки.

— Тут еще на два раза хватит! — радостно объявила Лини.

Ели в сосредоточенном молчании, время от времени покрякивая от удовольствия. Какое же это было наслаждение — есть обычную пищу, ведь они так давно ее не видели, и знать, что больше не нужно давиться тошнотворной крапивной баландой, из которой состоял их обед в Освенциме. Капуста, картошка, вкусный хлеб—да это же королевские яства! Одна только Клер усилием воли заставляла себя есть медленно. Остальные набивали рты без передышки, и голод этот был скорее психологический: ведь каких-нибудь несколько часов назад они довольно плотно поели. Каждый начисто вытер миску последним кусочком хлеба.

— Ах! — воскликнул Отто, отодвигая миску.— Святой Кароль! Не иначе как он попадет прямо в рай!

— Я бы этой капусты еще десять таких мисок съел, прямо сейчас,— сказал Юрек.

— А я — двадцать,— усмехнулся Андрей.

И тут они предались излюбленному развлечению заключенных.

— Если бы можно было заказать на завтрак любое блюдо, вы что бы взяли? — обратилась Лини к Норберту.

Ответ последовал незамедлительно:

— Четыре жареных утки и к ним четыре литра пива.

Взрыв хохота.

Отто: — А мне — тушеное мясо и яблоки в тесте.

Клер: — Болыпущий-преболыпущий омлет с сыром.

Юрек: — Мне — маленького свиненка, кило на шесть, чтоб было что пожевать, та-ак?

Снова хохот.

Андрей: — А для меня — большой жирный гусь.

Лини: — Никак не могу выбрать — то ли свежие голландские селедки, то ли клубнику со сливками.

Отто: — А ты начини селедки клубникой!

Клер отодвинула свою миску, съев меньше половины.

— Потом вы все будете мне завидовать,— весело объявила она.— Смотрите, сколько у меня осталось!

Лини: — Особенно буду завидовать я — ведь у тебя такая изящная фигура!

Все снова так и закатились, а Клер громче всех.

Потом Юрек со вздохом сказал:

— Ну я пошел. Пошукаю колодец, принесу воды.

— Слушай-ка,— оживился Отто.— Заскочил бы ты по дороге в лавочку, купил мне сигар, а?

Громовой хохот.

— Ох, боже мой,— простонала Лини.— Уморили меня совсем. Хватит! Чтобы никто больше ни слова!

До чего же хорошо! Какое блаженное чувство свободы!

6

Норберт и Отто подремывали, лежа вдвоем на одном одеяле. Женщины, казалось, тоже спали, но Андрей заметил, что Клер зашевелилась и села. Он двинулся к ней, осторожно пробираясь в темноте.

— Клер, вы проснулись? — зашептал он по-русски.

— А я не спала. Я опять ем.— И она рассыпалась коротким счастливым смешком.

— Как ноги?

— Все так же — болят.

— Но не хуже?

— Нет. Только ледяные — никак не согреются. Опустить бы их на часок-другой в горячую воду!

— Нельзя, это вредно. Хорошо, что здесь прохладно. Такая температура для ваших ног в самый раз.

— И откуда вы только все это знаете?

— Я до плена отмораживал себе ноги дважды.

— А в каких частях вы служили?

— Санитаром был. Ездил с госпитальной машиной.

Короткое молчание.

— Андрей, вы напели мелодию из Дебюсси так правильно, что я сразу ее узнала. Вы музыкант?

— Был. До войны. А теперь не знаю,— в голосе Андрея пробилась горечь.

— Из-за того, что вы все эти годы не упражнялись?

—- Не в том дело. До плена у меня была такая возможность — в свободное от дежурства время. Но после контузии я почти оглох на правое ухо... В нашу машину угодила мина. Стать первоклассным музыкантом вообще не так-то просто. А уж при физическом недостатке... Не знаю, смогу ли теперь воспринимать музыку нормально.« Удастся ли приспособиться...

— Может, когда вернетесь домой... С помощью врачей?

— Может быть.

Молчание.

— Клер, вы любите классическую музыку?

— О да. Особенно камерную. У вас какой инструмент?

— Виолончель.

— Играли в оркестре?

— Нет. Учился в Киевской консерватории.— Потом с горечью: — Говорили, я подавал большие надежды. Когда началась война, я как раз готовился к первому своему концерту.

— Но он так и не состоялся?

— Нет.

Снова короткое молчание.

— Сколько вам лет, Андрей?

— Двадцать пять. Но выгляжу я, должно быть, гораздо старше?

— Немножко. Как и все мы. Это ведь неизбежно.

— А вам сколько?

— Двадцать шесть.

Мягко: —Какие у вас чудесные глаза, Клер. Синие, как у некоторых русских девушек.

Клер рассмеялась:

— Вы даже представить себе не можете, до какой степени я француженка.

— А я все-таки утверждаю: есть в вас и русская кровь, от деда,— шутливо настаивал Андрей.— Ох, до чего же все-таки здорово, что вы говорите по-русски. Ни в команде, ни в бараке у меня не было ни единого земляка. Народ из каких угодно стран, только не из моей. Я теперь знаю слов по двадцать из доброго десятка языков, даже греческого.— И он невесело засмеялся.

— А чувствуете у меня акцент?

— Самую малость. Вы и по-польски так же хорошо говорите?

— Нет. Объясниться кое-как могу,> но и только. Я ведь главным образом изучала немецкий и русский. Собиралась стать переводчицей.

— Хотели книги переводить?

— Да. Мне казалось, это интересная работа, ею приятно зарабатывать на жизнь.

— Ас русского вы что-нибудь перевели? — оживился Андрей.

— Нет. Работать мне так и не пришлось. Вышла замуж, а потом началась война.

После некоторой заминки:

— А что с вашим мужем?

Тихо, очень сдержанно:

— Он погиб. После того как нас привезли в Освенцим, я его больше не видела.

Внутренняя дверь со скрипом отворилась, и вошел Юрек, неся третье по счету ведро воды.

— Эй,— бросил Отто, приподнявшись,— купил мне сигары?

— Прошу у пана прощения — забыл.

— Ха-ха!

— А не пора ли выходить на поверку? — осведомилась Лини.

Снова грохнул взрыв смеха, горького, резкого, сухого, роднившего их. Самым страшным в лагерной жизни были именно поверки. Дважды в день, на рассвете и в сумерках, заключенных в

любую погоду выстраивали перед бараками в ровные шеренги и по три, по четыре часа заставляли стоять по стойке «смирно» или же на коленях с поднятыми над головой руками, а упавших избивали хлыстом или дубинкой... Безрадостное это веселье бистро утихло, сменившись гневом, угрюмым раздражением, болью; чистый воздух наполнялся знакомыми запахами — зловонием бараков, их собственных давно немытых тел; раздавленных ногтями вшей, успевших насосаться крови; черного дыма, день и ночь стлавшегося над крематорием. Лини расплакалась.

— Ой, и надо же мне было ляпнуть такое! Давайте больше никогда-никогда не будем говорить про лагерь.

— Ш-ш-ш! — сказала Клер, обнимая ее.— Друзья, милые мои, дорогие друзья, у меня предложение. Пусть в первую ночь свободы музыка отвлечет нас от мыслей о лагере. Андрей только что мне рассказал: он музыкант. Попросим его напеть какую-нибудь прекрасную мелодию. Чтобы нам уснуть под звуки музыки.

— Чудно,— подхватил Отто.— Под «Голубой Дунай», а?

— Ой, нет. Это каждый из нас может напеть. Лучше что-нибудь из Бетховена или Чайковского. Ладно, Андрей?

— С удовольствием,— ответил он по-русски. Но только не Бетховена, что-нибудь попроще.

— На ваш выбор... Друзья, он согласен.

И они стали устраиваться на ночь: в одно одеяло завернулись Лини и Клер, на другое вчетвером легли мужчины.

— Скажите им, Клер,— попросил Андрей по-русски,— что я напою «Песнь матери» чешского композитора Дворжака. В армии виолончель была со мной, и я часто играл раненым. Так вот, эту вещицу они, бывало, без конца просили повторить. Она коротенькая, но в ней много чувства.

Клер перевела.

— И пусть извинят — голос у меня неважнецкий.

— Ничего.

Они лежали на каменном полу заброшенного заводика, наслаждаясь первой ночью свободы, и Андрей напевал. Сам того не замечая, он нажимал пальцами левой руки на грудь, словно на гриф виолончели. И под пение это все, кроме Клер, незаметно уснули, так и не дослушав до конца.

— Большое, большое вам спасибо,— сказала Клер, когда он кончил.— Ну теперь пора спать. Доброй ночи, Андрей.

— А я так счастлив, что мне, пожалуй, не заснуть.— Потом с тихим смехом: — Как же это так — я вижу в темноте ваши глаза.

— Не можете вы их видеть. Они закрыты.

— Странно. А все-таки я их вижу.

— Просто вы хотите сделать мне комплимент.

— Не расслышал.

— Я говорю: — вы хотите сделать мне комплимент.

— Вовсе и не комплимент.

Она рассмеялась:

— Что-что, а такие вещи француженка распознает сразу. Но мне это приятно. Доброй ночи.

— Доброй ночи, Клер.

Глава третья. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

1

Отто проснулся на заре и по привычке ждал, когда сквернослов староста начнет дубасить палкой по стене барака и вопить в устрашение недостаточно расторопным:

— Подъем! На поверку, подлые свиньи! Никак задниц своих не поднимут, сволочи. А ну живей, погань этакая!

Но окрика все не было, и Отто удивленно открыл глаза — только тут он все вспомнил, и буйная радость накатила на него. Не в силах держать ее в себе, он рывком сел, обвел остальных загоревшимся, диким взглядом, осклабился и вдруг заорал во все горло:

— Подъем, мразь помоечная! На поверку! Живо, живо!

Будь в Отто хоть немного больше чуткости, ему сразу же стало бы совестно за свою выходку. Пятеро беглецов выломились из сна: протяжные стоны, сведенные судорожной гримасой лица, мучительно-напряженные движения — все это он ежедневно видел столько лет подряд. Прежде чем его ржание заставило их опомниться, они уже были на ногах. Дружного ответного хохота, которого он ожидал, не последовало. В эту минуту все люто его ненавидели — он понял это по их глазам, по застывшим лицам, и смех его замер.

— Я просто пошутить хотел,— пробормотал он.

Молчание все длилось и длилось, пока наконец его не прервала Лини.

— Давайте договоримся больше так не шутить,— сказала она мягко.— Я и сама вчера вечером отколола номер в этом роде. И горько пожалела. Мы же все так настрадались.

— Ну факт,— буркнул Отто.— Дернуло же меня. Не подумал... Норберт примирительно похлопал его по руке.

— Семь раз отмерь, один раз отрежь.

— Ой, вы только взгляните! — воскликнула Клер, указывая на окно.— Ни бараков, ни колючей проволоки, ни вышек! Посмотрите, какая красота!

Все сгрудились у окна. Занялся бессолнечный день, графитно-серое небо нависало по-зимнему низко, давило — сколько раз повторялось в их жизни такое вот хмурое утро, но в эту минуту для них, шестерых, было в нем что-то необыкновенное. От дверей завода меж ровных заснеженных полей бежала дорожка, теряясь вдали. Насколько хватал глаз, нигде ни жилья, ни людей, на снежной целине — ни стежки, ни следа. Далеко-далеко темнел густой лес. Жадно глядели они на эту мирную картину, и каждый вдруг ощутил свободу гораздо

острее, чем вчера, в ночной мгле. Клер и Лини повернулись друг к другу с сияющей улыбкой. И вдруг обнялись.

— О господи,— прошептала Лини.— Как далеко очутились мы от Тулузы.

— Видела ты что-нибудь прекрасней? — зачарованно выдохнула Клер.— Теперь и умереть не жаль — после того как поглядела на эту красоту.

Лини усмехнулась:

— За эти сутки ты уже второй раз говоришь, что готова умереть.

— Ах, друзья, друзья! — радостно воскликнула Клер, не отрывая глаз от окна.— Каких-нибудь четыре дня тому назад мы, просыпаясь, были всего лишь номерами. Невольниками. Прахом. А теперь каждый из нас вновь стал личностью, человеком, обрел чувство собственного достоинства. Великое дело — свобода! Я от счастья готова до неба подпрыгнуть.

Вдруг Лини подала Клер знак, чтобы та обернулась: Норберт стоял у окна, позабыв о других и не замечая, что по щекам у него катятся слезы. Мужчины молча отошли в сторонку, чтобы он мог побыть один, и Клер последовала их примеру, но Лини осталась. Она подошла к Норберту, молча постояла рядом, потом негромко сказала:

— Норберт? — и коснулась его руки.— Норберт? — Он обернулся и, ощутив у себя на щеках слезы, смахнул их рукой.— Вы долго про- . были в лагере?

Он кивнул, судорожно глотнув воздух.

— Сколько?

— Меня забрали в тридцать третьем.

— Двенадцать лет?! Господи боже мой!

— Я ведь не верил, что когда-нибудь окажусь на свободе, буду вот так стоять,— выговорил он едва слышно.— Друзья погибали один за другим у меня на глазах. Правда, я надеялся, но верить не верил.

Она положила руку ему на плечо.

— И все-таки дождались — мы на свободе...

— Да, да.— Он как-то обмяк, твердый, непроницаемый взгляд смягчился, стал печальным, усталым.— Я сейчас все равно как человек, который...— Он развел руками.— Ну, забрался на самую высокую в мире гору, что ли... А когда очутился на вершине... Только тут и понял, чего ему это стоило... Я... так устал... И не то чтоб телом. Нет, душа у меня словно выкачана до дна. И мозги тоже.

Лини все не снимала руку с его плеча.

— Еще бы,— ответила она так же тихо.— Двенадцать лет.

Боже мой! Но ничего, вы отойдете. Видно, очень вы сильный человек, иначе нипочем бы не выдержали.— И, хорошо зная, каково это — чувствовать, что ты опустошен, выкачан до дна, она решила хоть как-то отвлечь его от горьких мыслей.— Слушайте все!—объявила она громко.— Выходить нам нельзя, значит, надо договориться, где у нас будет женский туалет. И давайте решать сразу, а то как бы мне не оскандалиться, я вот-вот лопну.

Общий смех и на лице Норберта слабая улыбка — этого-то ей и надо было!

— Тут же завод, значит, должны быть уборные! — сказал Отто.— Пошли поищем. Я семь лет настоящей уборной не видел.

Клер усмехнулась.

— Семь лет не видел ни женского лица, ни стульчака. Лини, что мы, бедные, станем делать, если он целый день будет любоваться не нами, а стульчаком?

— Ха-ха! Любоваться целый день я, положим, не стану, но, будь там тепло, просидеть действительно просидел бы на нем целый день — для разнообразия.

Распахнув дверь в дальнем конце помещения, они очутились в необычно пустом, оголенном заводском цехе: ни машин, ни приводных ремней, ни проводов. Лишь красная пыль на полу да дыры в бетонных плитах, к которым крепились станины, говорили о том. что было здесь прежде.

— А пыль-то, похоже, кирпичная,— заметил Норберт.

— Так,— подтвердил Юрек.— То и был кирпичный завод. Немцы все забрали. А вон за той дверью ход на второй этаж. Ага! —И он кивком показал в угол цеха, где к стене притулились две закрытые кабинки.— Верно, то и есть туалет.

Все направились к кабинкам.

— Мы просто экипаж Колумбовой каравеллы — открываем Америку,— со смехом сказала Клер.— А вон и надписи: «Для мужчин», «Для женщин».

— Ах да,— подхватил Юрек по-польски.—Я и забыл, что вы знаете мой язык.

— По правде сказать, довольно слабо. Так, научилась немножко от бабушки.

Отто распахнул дверь женской уборной и остановился как вкопанный.

— Нет, он и в самом деле прекрасней женщины. Вы только взгляните, какие линии. Ни одна женщина...

— Пропустите, пожалуйста! —прервала его Лини.

Но Отто не шевельнулся.

— Я поклонник прекрасного. Дай же мне полюбоваться хоть минутку.

Лини попыталась было оттереть его плечом, но он словно врос в землю.

— Отто, я вот-вот лопну.

— Во имя третьей империи, научись обуздывать свой мочевой пузырь.

— Фу! — Лини со смехом шмыгнула во вторую кабину.

А Отто предложил руку Клер.

— Разрешите, мадам, проводить вас к дверям Америки?

2

Они сидели кружком, накинув на плечи одеяла, и Лини накладывала в миски картошку и капусту — на завтрак. Андрей, примостившись рядом с Клер, тихонько спросил по-русски:

— Как ноги?

— Пожалуй, лучше. Уже могу двигать пальцами. А вчера не могла.

— Ну отлично. Разрешите проверить — появилась ли чувствительность?

— Конечно.

Он стал ощупывать ее ноги.

— Все еще не согрелись. Но уже не такие ледяные, как вчера. — Он улыбнулся, и темно-карие глаза его засветились.— Вчера я побаивался, как бы не началась гангрена. Но обошлось. А массаж все-таки надо продолжать. И почаще шевелить пальцами.

— Гангрена? Тогда бы мне конец!

— В таких условиях — разумеется.

— Вот был бы дурацкий финал! И это после того, как я вырвалась живая из Освенцима.

— Эй! — обратился к ним Отто, и в голосе его прозвучали едва заметные нотки досады.— Говорили бы вы по-немецки, чтоб всем было понятно, а?

— Да у нас нет никаких секретов,— улыбнулась Клер.— Разговор идет о моих ногах. Просто Андрею гораздо легче объясняться по-русски.

Тем временем Лини принялась раздавать завтрак. На этот раз овощи были холодные и порции втрое меньше вчерашних, а хлеба — каждому по небольшому кусочку. И все-таки при виде этой еды беглецы испытывали блаженство, у них текли слюнки. Ведь в Освенциме завтрак их состоял из кружки мерзкого пойла — эрзац-кофе или чая — да ломтика кислого, отвратительного на вкус хлеба — это еще если удавалось хоть что-то сберечь от выданной вечером пайки... Ели они уже не так торопливо, как вчера, время от времени перебрасывались словом.

— Эй, поглядите-ка, что у меня есть! — И Отто поднял вилку с половиной картофелины на ней.— Добрый кус жареной свинины.

Лини: — Это я специально для тебя зажарила.

Но Отто не донес картофелину до рта — она соскочила и шлепнулась на пол. Он поднял ее, очистил пыль и отправил в рот. И каждый из них на его месте поступил бы точно так же.

— Здорово, да-а? — воскликнул Юрек и погладил себя по

животу.— Уже не такой пустой.

— Едим теперь как старосты бараков или капо,— усмехнулся Норберт.

Отто:—А что? И вправду! Эй, Клер! Вот вам на десерт.— И он протянул ей два кусочка сахара.

— Спасибо, Отто. Вы такой славный.— Потом горячо, порывисто: — Без вас, мужчин, мы бы пропали. А будь на вашем месте другие, может, нам бы плохо пришлось. Но вы обходитесь с нами так по-товарищески... Ну, в общем, знайте: мы очень это чувствуем и ценим, всем сердцем чувствуем.

— Да ну, о чем тут говорить. Просто мы четверо рыцарей из Освенцима,— усмехнулся Отто.— Нет, четыре мушкетера. В детстве «Мушкетеры» были моей любимой книжкой.— Он вскочил и принялся фехтовать воображаемой шпагой.— Оберегаем прекрасных дам от всех опасностей.— Он сделал несколько яростных выпадов.— Один убит, второй, третий.— Снова выпад, захлебывающийся вскрик.— А теперь я сам убит.— И он хлопнулся навзничь.

Хохот, рукоплескания. Довольный донельзя, Отто поднял свою миску, подцепил вилкой кусок капусты и отправил его в рот.

Андрей снова заговорил с Клер по-русски:

— Какая у вас очаровательная улыбка. До Освенцима вы, бесспорно, были красавицей.

Она помрачнела, хмуро ответила:

— Благодарю вас, Андрей. Когда вы говорите такое, это мне помогает — я опять начинаю хоть капельку чувствовать себя женщиной.

— А кем же еще можете вы себя чувствовать? — спросил он недоуменно.

— Каким-то бесполым существом.

— Но почему?

Она ответила с откровенностью, какая раньше была бы для нее немыслима в разговоре с посторонним мужчиной. Но в Освенциме, где вся жизнь заключенного была сведена к чему-то самому элементарному, человек был внутренне оголен, его лишали возможности хоть что-нибудь держать в себе, обривали ему душу, как и голову, наголо.

— Потому что я превратилась в скелет, потому что вот уже два года у меня не было месячных и не осталось сейчас в моей внешности ничего женского — ни волос, ни груди.

— Отчего же вы для меня сама женственность?

— Может быть оттого, что вы давно не видели женщин. А может быть,— тут она бросила на него лукавый взгляд,— может быть, это у вас привычная галантность и вы такое каждой

женщине говорите.

— Ни то ни другое,— ответил он очень серьезно.— Прежде всего, в лагерях я пробыл только семь месяцев. И потом, моя команда каждый день проходила в Бжезинке через женский лагерь, так что женщин я видел. Нет, дело не в том — даже в этой одежке, даже такая истощенная вы очень женственны. И глаза ваши, и рот, и голос... И движения... И вся ваша душа...

Клер улыбнулась. Он даже не представлял себе, до чего она ему благодарна.

— Приятно слышать. Спасибо. Андрей.— И, резко повернувшись к Юреку, спросила его по-немецки: — Как вы думаете, нельзя ли раздобыть у Кароля зеркальце?

— Попрошу.

— Мужчины, а вам удалось за все это время хоть разок поглядеться в зеркало? Нам — нет. Разве что иногда увидишь свое отражение в оконном стекле, да и то если свет падает как надо. Но все равно толком ничего не разглядишь.

Выяснилось, что и мужчины за все годы лагерной жизни ни разу не видели себя в зеркале.

— Однажды в Бухенвальде.— стал рассказывать Норберт,— я раздобыл осколочек зеркала, но в него только и было видно, что кусочек носа или губы. А это хуже, чем ничего.

— Ты хорошенько подумала, тебе и в самом деле охота на себя поглядеть? — усмехнулась Лини.— Я так вовсе не жажду.

— При такой кормежке я толстею не по дням, а по часам,— ответила Клер.— К завтрашнему дню буду в форме.

— Да уж конечно,— сказала Лини, собирая миски.— Видели бы вы Клер до Освенцима — это вам не мужиковатая голландка вроде меня: сногсшибательная, элегантная красотка француженка. Ну вот что, рыцари, когда я перемою миски, вы уж будьте так любезны, погуляйте где-нибудь, чтобы дамы могли помыться. Тогда я смогу надеть обновки, которые Юрек приобрел для меня в универсальном магазине Кароля. Ох, боже ты мой! Ведь я на них еще и не взглянула!

Со стуком поставив миски на пол, Лини бросилась к чемодану, раскрыла его и, вскрикивая от восторга, извлекла оттуда сперва синюю шерстяную юбку, за ней фланелевую нижнюю, затем кофту с воротником стоечкой, какие носят крестьянки, и, наконец, фуфайку из грубой шерсти.

— Нет, вы только посмотрите! — возбужденно повторяла она. — Да я в этом буду просто королева!

Одежда была поношенная, в заплатах, но это нисколько не портило ей удовольствия.

— Ну а сейчас выйдите, а? — попросила она мужчин,

прикладывая юбку к талии.

Однако Норберт заартачился:

— Лини, вымыться еще успеете — как-никак целый день впереди, да и вода холодней все равно не станет. А так хотелось бы, девушки, с вами поговорить — ведь мы о вас ровным счетом ничего не знаем.

— Поговорить тоже еще успеем, сами же сказали — весь день впереди. А я хочу сбросить с себя это полосатое тряпье и знать, что с Освенцимом покончено.

— Давайте проголосуем,— предложил Отто.— Итак, кто за то, чтобы Лини сперва рассказала нам о себе, а уж потом вымылась?

Четверо мужчин дружно заулыбались, разом подняли руки.

— Принято большинством голосов. Садись, Лини. У нас демократия.

— Клер, знаешь, юбка-то широковата в талии,— огорченно сказала Лини.— Что теперь делать?

— Может, Юрек достанет английских булавок?

— Ой, я и забыл. Сестра Кароля спрашивала, вы толстая или тонкая.— И Юрек улыбнулся своей ослепительной, мгновенно гаснущей улыбкой.— Сама она чуть потолще вас. Так что вот, она прислала.— И он вынул из кармана несколько английских булавок.

— Благослови господь сестру Кароля! Ну а теперь, мужчины, выйдите-ка, а?

— Но решение принято большинством голосов,— ухмыльнулся Отто.— Итак, где ты родилась, во сколько лет выучилась читать, как звали мальчика, с которым ты первый раз поцеловалась, и так далее...

— Лини, ну пожалуйста,— негромко попросил Норберт.— Надо же нам познакомиться поближе.

— Ох и упорный вы народ, мужчины!—Лини села.— Клер, давай-ка ногу, я помассирую, чтобы зря времени не терять. С чего же начнем? Значит, родилась я в Амстердаме. Была у меня мама — до того хорошая! Умерла перед самой войной, и я даже рада, что так случилось. А еще есть два старших брата — они в Канаде, не знаю, что сейчас с ними, может, в канадской армии воюют — и отец, человек очень ограниченный, страшно религиозный — такой дурак...— Она помолчала.— Погиб, скорей всего. Ни за что не хотел уезжать из Амстердама. У него там была мясная лавочка. Окончила я только начальную школу, потом пошла работать на шоколадную фабрику. А вечерами училась делопроизводству и выучилась-таки. После этого работала машинисткой в конторе. В тридцать шестом вышла замуж. Два года спустя у меня родился

сын, Йозеф. Так, это вместо вступления. А теперь о том дне, с которого начался мой путь в Освенцим. Почти пять лет назад это было. Десятого мая сорокового года.— До сих пор Лини говорила быстро, непринужденно. Но теперь вдруг заговорила медленнее, и в голосе ее прорывалось волнение, хоть она явно и старалась сдерживаться.

— А почему именно десятого мая? — спросил Норберт.

— Потому что в этот день немцы вторглись в Бельгию, Францию и Голландию.— Она опять помолчала, потом горько усмехнулась: — Дата не слишком радостная — не то что день рождения или годовщина свадьбы, верно? И едва все это началось, с самой первой минуты мы с мужем знали; надо бежать — у нас с ним все было обговорено заранее. Оба мы евреи и очень хорошо понимали, чего нам ждать от фашистов. Правда, у некоторых евреев, вроде моего умника папаши, были на этот счет заблуждения. А вот мой муж, Алекс, состоял в антифашистской организации. За ним, по правде сказать следили, потому что он частенько выступал на митингах. Голландские фашисты даже избили его и пригрозили, что в следующий раз прикончат.

— Чем занимался ваш муж? — спросил Норберт.

— Преподавал в гимназии. Он был много старше меня — на пятнадцать лет.

— А сейчас вам сколько?

— Двадцать девять... В то время нашему мальчику было всего два годика. Конечно, у нас все было заранее подготовлено — мы оставили его у наших друзей-христиан.— Она помолчала, пытаясь незаметно сморгнуть набежавшие слезы.— Представить себе не можете, до чего он славный. Теперь ему почти семь лет, он меня не узнает... Да и жив ли он...

— Почему же нет? — сказал Норберт сердечно.— Разумеется, жив.

— Кто знает, что могло произойти за эти годы...— Быстрым движением она вытерла глаза.— Ну так вот, мы с мужем выехали из Амстердама на велосипедах. Пробирались через Бельгию в Париж. Иной раз едем, где-нибудь совсем близко бой, так что приходилось петлять. Две недели мы ехали, до Парижа добрались еле живые.

— И как же вы перешли границу?

— Ночью. Проводника наняли. Муж хорошо знал французский — он учился во Франции,— так что мог обо всем договориться. В Париже мы прожили немного у его друзей, но тут французская армия стала разваливаться, и мы вместе со всеми бросились на юг. Остановились в Тулузе, там у Алекса тоже был друг. Он нам помог получить бумажку, что мы беженцы,— без

этого не давали продовольственных карточек. Там мы и жили, покуда Франция не капитулировала. В Тулузе для нас на первых порах было безопасно — та часть Франции еще не была оккупирована фашистами, но Алекс понимал, что это дело времени. И потом, он считал — надо нам перебраться в Англию, хотел там в армию пойти.— Лини сделала паузу поудобнее устроила у себя на коленях ногу Клер.— Ну что, не слишком длинно получается?

— Нет, нет! — поспешил заверить ее Норберт.— Вы поймите, ведь мы с Отто почти не знаем, что происходило в годы войны. Поэтому нам интересно решительно все. Так, значит, вы хотели перебраться в Англию. И что же?

— Добрались мы до Перпиньяна, это на границе с Испанией, велосипеды продали. Алекс нашел проводника, тот обещал ночью провести нас в обход пограничных постов. Взял денежки, а потом привел нас прямехонько к испанскому патрулю. Неделю нас продержали в тюрьме, потом выслали обратно во Францию. На том дело с Англией и кончилось. В Тулузу вернулись без гроша. Впрочем, там скопилось много беженцев, все больше немецкие евреи, и Алекс кое-что зарабатывал, давая им уроки французского.

— А как обращались с вами французы? — поинтересовался Норберт.

— В большинстве своем очень хорошо. Ну, конечно, были и у них свои фашисты... Словом, прошел год с лишним, и вот в конце сорок второго немцы заняли неоккупированную часть Франции.— Лини перестала массировать ногу Клер. Она словно одеревенела, углы рта опустились, голос стал глуше: — И больше уже ничего сделать было нельзя — бежать некуда, спрятаться нам, евреям, тоже негде. Оставалось сидеть и ждать, пока тебя заберут, это было невыносимо. И через три недели нас забрали. Вот тогда я и встретилась с Клер. Благодарение богу, меня посадили в одну камеру с ней. Но Алекса...— она умолкла, кивком попросила Клер досказать за нее.

— Алекса расстреляли,— объяснила Клер.— Затребовали из Голландии его досье и расстреляли.

— Мои братья немцы! — с болью воскликнул Норберт.— Двенадцать лет я все спрашиваю себя: как могло случиться, что такой народ, как мой, охватило безумие расизма? Нет, причины-то мне известны досконально: и политические, и экономические, и исторические. Ведь в те первые годы попасть в Дахау — значило очутиться среди образованнейших людей, вы уж поверьте. Там были лучшие люди Германии: ученые, писатели — словом, люди, которые знали, что к чему. Они говорят, бывало, а я слушаю —

наверное, тысяч десять лекций прослушал. Для меня, рабочего человека, это был все равно что университет. Но хоть я и знаю все причины досконально, а еще и сейчас спрашиваю себя: как могло такое случиться?

Все молчали — оказавшись в чудовищной мясорубке Освенцима, они и сами без конца раздумывали над этим... Молчание прервал Андрей, заговорив с Клер по-русски: он не все уловил из того, что сказал Норберт,— тот говорил так быстро. Клер повторила ему самую суть, и Андрей одобрительно закивал. Потом снова заговорила Лини — глухим, сдавленным голосом:

— Ну теперь вы знаете обо мне уже все. Из Тулузы нас отправили в Драней — пересыльный лагерь для французских евреев, а оттуда в марте сорок третьего — в Освенцим.— Она ненадолго умолкла, ее широкий добрый рот искривился в горькой усмешке.— Вот и вся моя история.

Помолчали. Вдруг Лини сказала:

— Нет, не вся! Надо еще рассказать вот про нее,— и она кивком показала на Клер. Лицо ее сразу смягчилось, глаза заблестели.— В тулузской тюрьме можно было с голоду вспухнуть — не хуже, чем в Освенциме. А Клер получала посылки от родных. Я была ей совсем чужая, иностранка, но она с первой же минуты стала всем-всем со мной делиться.

— А сколько сделала для меня ты? — любовно проговорила Клер.

Но Лини оставила ее слова без внимания и продолжала:

— Когда расстреляли мужа и я хотела размозжить себе голову о стену, это она, Клер, удержала меня — заставляла думать о ребенке, обнимала меня, когда я плакала, просиживала возле меня ночи, когда я не могла спать,— боже мой, да вы представить себе не можете, что это за добрая душа. Только послушайте: она была в Освенциме переводчицей, а меня отправили в Бжезинку[6]. Ну надолго ли меня там хватило бы — вкалывать на болоте, по колено в грязи? И вот Клер принялась упрашивать своего шефа, гестаповского офицера, чтобы взял меня к себе в отдел машинисткой. И до того она ему надоела, что в один прекрасный день он объявил: «Придется мне либо взять сюда твою подругу из Бжезинки, либо отправить тебя обратно к ней. А то ты так и будешь без конца морочить мне голову!»— «Так и буду, господин начальник, иначе я не могу». Этими вот словами. Сам мне потом рассказывал— даже он, этот гад, не мог ею не восхищаться. Ну а Клер была ему нужна позарез. Потому-то я и выкарабкалась из Бжезинки. А не то давным-давно ушла бы в трубу![7] Вот она какая, Клер...

— А знаете,— улыбнулась Клер,— зато Лини для меня

никогда ничего не делала. Разве самую малость: не пропускала ни одного транспорта с французами, прибывшего в Бжезинку,— ждала меня. И в первую же неделю, как я туда попала, раздобыла для меня миску, фуфайку, рубашку — выменяла все это на черном рынке на свои пайки. А когда я лежала в тифу со страшной температурой и пропадала от жажды, не ты ли приносила мне каждый день свою похлебку, а сама чуть с голоду не умерла?

— Да,— твердо сказал Норберт,— обе вы только потому и выжили, что помогали друг другу. Я видел такое тысячу раз. Послушайте, что я вам скажу.— Он заметно оживился, голос его окреп: — В мужских лагерях в Дахау, Майданеке, Освенциме я видел, как люди превращались в зверей, обворовывали своих же товарищей, доносили один на другого, ни о ком и ни о чем не думали, только о себе. И среди женщин, наверное, попадались такие.

— Еще бы,— подхватила Лини.— А всех поганей старосты бараков и капо — били других заключенных палками, отнимали у них еду...

— Всяко бывало,— перебил ее Норберт.— Но я про другое хотел сказать. Живой думает, как бы выжить. В тех страшных условиях многие теряли себя — одни сдавались и гибли, другие превращались в скотов, шли на что угодно, лишь бы спасти свою шкуру. Но были ведь и такие, кто сумел выстоять! Это одно и держало меня двенадцать лет — настоящее мужество (а я его видел в людях), настоящее благородство и доброта. Да, они делали все, чтобы выжить, и все же какой-то черты не переступали, потому и оставались людьми. Был у меня в Майданеке хороший друг — сам он из Венгрии, очень образованный человек, издательским делом занимался. И он мне однажды сказал примерно так: «Бывает, что верность идее или другу у человека так сильна, что ему важней сохранить ее, чем выжить. Это и делает его настоящим человеком». Так он сказал. Потому-то Клер не бросила вас в беде, Лини, а вы не бросили ее. И именно потому вы обе выжили!

— Смотрите,— негромко сказала Клер.— Снег пошел. До чего красиво!

— О, то есть великая удача для нас,— сразу же сообразил Юрек.— В лесу заметет наши следы.

— Сидим тут как у Христа за пазухой! — воскликнул Отто.— Четыре мушкетера и их дамы! — Он вскочил и, напевая «Голубой Дунай», протянул Лини обе руки.— Пошли. Давненько я не танцевал с дамой — целую неделю, а то и две.

Лини улыбнулась, встала. Андрей подхватил мелодию, и вот

уже все вторят ему, а Лини и Отто весело и .неловко кружатся в вальсе.

3

Чтобы решить, как лучше всего помыться, Лини и Клер пришлось основательно пораскинуть мозгами. Задача и впрямь была страшно сложная: помещение холодное, всего одно ведро воды, да и та ледяная; ни мыла, ни мочалки, ни полотенца. Но снять с себя грязь, отмыться, насколько это возможно, стало для них острой потребностью — не только телесной, но и духовной. Жизнь в Освенциме была беспрерывной борьбой со вшами, переносчиками тифа, и это при том, что заключенных пускали в душ только раз в месяц, на две минуты. И как изо дня в день томил их голод, так изо дня в день томило острое желание вымыться. Договорились, что рубашка Клер послужит мочалкой, а рубашка Лини — полотенцем. И вот одежда сброшена, обе торопливо завернулись в одеяла.

— Давай сделаем друг другу обтирание,— предложила Лини. — Знаешь, как больных моют — по частям: вымою тебе одну руку, вытру, и ты ее сразу закутаешь, потом таким же манером другую и так далее.

На том и порешили. Лини принялась мыть подругу.

— Вот так купанье,— пробормотала Клер, лязгая зубами.— Увижу настоящую ванну — кинусь ее целовать.

— Смотри-ка, грязь здорово сходит. Голову обтереть?

— Ой, пожалуйста. Но если есть гниды, ты мне не говори.

— Снимай платок сама — за этот вид услуг мне не заплачено.

Клер то ли фыркнула, то ли всхлипнула, трясясь от холода.

— Ух ты, до чего быстро у тебя волосы отрастают!

Клер обрадованно:

— Ей-богу?

— Так мне, во всяком случае, кажется. Правда, без увеличительного стекла точно сказать не могу.

— Salope[8]! Я думала, ты серьезно.

— А что это такое?

— Словцо довольно гадкое.— Потом тоскливо: — Как хорошо было бы снова ходить с волосами. Снова стать женщиной.

— А для Андрея ты и сейчас женщина. Обрати внимание, как он на тебя смотрит. Глаз не сводит! Нравится он тебе?

— Очень.

— Глаза у него красивые. Должно быть, недурен собой, когда в норме. И наверно, у него этакая романтическая кудрявая шевелюра— он же-музыкант. А что ты будешь делать, если он станет тебя добиваться?

— Ты шутишь...

— Нисколько.

— Нет, шутишь. Кому я нужна такая?

— Cherie[9], ты дурочка. Пусть от тебя остались кожа да кости — все равно ты женщина. А эти мужчины, они же истомились за столько лет. И если мы еще день-другой пробудем вместе, об этом, безусловно, пойдет разговор, неужели ты не понимаешь?

— Просто в голову не пришло. Но от меня было бы мало проку. Я совсем погасшая, словно неживая. А ты?

Лини рассмеялась:

— Посмотрим сперва, заведет ли кто-нибудь со мной об этом разговор и кто именно.

— Ты хочешь сказать, что тебя к кому-то из них тянет?

— Еще как!

— А забеременеть не боишься?

— После всего, через что мы прошли? Конечно нет.

— Кто же он?

— Угадай.

— Самый красивый — Юрек. Такое лицо — прямо киноактер!

— Красив, ничего не скажешь. Но это не он и не твой Андрей. Дай-ка я тебе спину потру.

— Значит, Норберт. Он так тебе нравится?

— Очень. Меня всегда тянуло к таким вот спокойным, сильным. А как ты догадалась, что не Отто?

— Потому что он мне нравится меньше других. Сама не понимаю почему.

—: А я понимаю. Хитренький он какой-то. Помнишь, вчера, когда Норберт спросил, что у него есть из еды... Заметила?

— Да. А все-таки сахар он нам отдал, это большая щедрость.

— Я тебе сейчас кое-что расскажу. Прошлой ночью я проснулась и, хоть было темно, могу сказать точно: он грыз сахар и допивал коньяк.

— Правда? Впрочем, ведь и сахар и коньяк его. И потом, он оттрубил семь лет. Знаешь, что могут сделать с человеком семь лет?

— С одним человеком семь дней могут многое сделать, с другим семь лет не сделают... Ну так, радость моя. Насколько это мыслимо, я тебя отмыла.

— Гнид нету?

— Нет. Может, оденешься, прежде чем взяться за меня?

— Да, пожалуй.

— Озябла?

— Наоборот. Странное дело, мне как-то теплей стало. Видно, от холодного обтирания кровь побежала резвее. Лини...

— А?

— Насчет тебя и Норберта... Меня тут кое-что тревожит.

— Что именно?

— Понимаешь, что получается? Четверо мужчин и одна женщина. Ну, может, трое мужчин — Андрей, судя по его виду, тоже вконец изможден. Что же произойдет, если вы с Норбертом станете любовниками?

— А чего, собственно, ты опасаешься?

— Ты как думаешь, каково будет остальным?

— Скверно, по всей вероятности.

— Сейчас у нас всех такие чудесные отношения ужасно будет если из-за этого все пойдет прахом.

— Но почему вдруг? Будь на их месте другие мужчины, дело иное. Когда мы легли спать я так и ждала, что посреди ночи почувствую на себе чьи-то руки. Но все они оказались людьми порядочными. Не позволяют себе никаких сальностей, даже не выругались при нас ни разу.

— Верно, я тоже заметила.

— А вообще, если Норберт заведет со мной об этом разговор, на отказ он не нарвется.— Она помолчала, потом проговорила ломким, срывающимся голосом: — До того я истосковалась, до того мне нужно, чтобы меня обнял человек, который мне мил... Вот ты говоришь — тебе ни к чему. А я тебя не понимаю.

— Я же тебе объяснила.

— Да ведь не о физической потребности речь — о душевной. Я тоже не больно-то воспламенилась. Просто мне надо знать: есть ли на свете мужчина, которому я нужна? Само собой, не первый попавшийся, а такой, который мне по душе. После всего, что мы пережили, сердце мое жаждет тепла. А твое — нет?

— Пока нет. Мужчина — это, пожалуй, для меня сейчас слишком. Не настолько я еще ожила. Есть, спать и радоваться, что мы на свободе,— вот и все, чего я пока хочу... Ну, ты готова? Можно соскребать с тебя грязь?

— Да,— ответила Лини. Потом, с нахлынувшей вдруг болью и яростью: — Выскреби Освенцим заодно и из моего сердца, если сможешь.— Она расплакалась.— Боже мой, нам с Алексом было так хорошо вместе. В нем было все, что я ищу в мужчине. И до чего нам чудесно жилось с нашим сыночком! Ну почему с нами должно было случиться такое?

4

Когда Лини, переодевшись, вышла, мужчины ошеломленно умолкли. В лагере им доводилось видеть надзирательниц в эсэсовской форме, но женщины в обычной одежде ни один из них не видел ни разу. Кофта со стоечкой, широкая юбка — во всем этом было столько женственности, да и платок как-то не портил картину, не то что обритая голова—знак позора. Молчание нарушил Отто.

— Браво! — крикнул он и захлопал в ладоши, а вслед за ним — Юрек и Андрей. Норберт молчал, только не сводил с Лини загоревшихся глаз. Обе женщины были глубоко растроганы.

Наблюдая за мужчинами, Клер вдруг с изумлением подумала: «Да ведь я ей завидую!» И тут же поняла почему. Одежда преобразила Лини: из товарища по заключению она вдруг превратилась в женщину — пусть исхудавшую, но все-таки женственную и потому неотразимо притягательную для четырех изголодавшихся мужчин. Вот это и вызвало зависть у Клер, изможденной, погасшей, одетой в мальчишеский костюм.

По глазам Лини, по ее улыбке видно было, как она обрадована и Клер подметила, что она то и дело посматривает на Норберта. Но вот Лини протянула Юреку связанную в узел лагерную одежду.

— Может, скажешь Каролю, чтобы сжег эту пакость?

— Зачем? — возразил Отто и, выхватив узел, подбросил его в воздух, подпрыгнул, ударил головой.— Будем играть им в футбол.

— Стой в воротах! — закричал Юрек и принялся поддавать узел то в одну сторону, то в другую, словно вел мяч, потом — удар.— Гол!

— Не было гола! Мяч вне игры.

Под смех остальных Юрек и Отто гоняли узел, покуда не развязались рукава и полосатое лагерное платье и куртка не распластались по полу — отвратительно напоминая о том, что им всем пришлось пережить. Смех разом оборвался. Юрек молча подобрал вещи. Вытащил из кармана полосатую шапку.

— Пора нам это тоже спалить, не-е-ет?

Тогда и Андрей сорвал с головы лагерную шапку.

— Что мы делать? Мы с ума сойти — не выбрасывать это до сих пор.— И с гримасой отвращения он швырнул шапку Юреку.

— Надо все время быть начеку, а мы...— негромко сказал Норберт.

— Я-то, положим, не забывал, что она на мне,— возразил

Отто.— Не снимал просто, чтобы голове было теплее. А пожалуй, и правда — лучше их выкинуть.

— Ну как, девушки, хорошо помылись? — спросил Норберт, глядя на Лини.

— Неплохо. Кстати, в нашей уборной замерзли трубы. Если можно, отнесите туда ведро с грязной водой — будет чем сливать. Оно тяжеленное, не поднимешь.

— Давайте отнесу. В нашей тоже трубы замерзли.

— Девушки,— сказал Отто,— осталось немного колбасы, ломтика четыре. Вы голодны?

— Пусть будет для Клер,— решила Лини.

Отто вынул нож.

— Ну чем у нас не семейная обстановка, а? Сперва моетесь вы, потом мы, три раза в день вкусная еда, от холода защищены, война где-то там, вдалеке, в общем, не жизнь, а малина.— Мадам, доводилось вам когда-нибудь пробовать польскую ветчину? До войны она даже у нас в Вене славилась.

— Спасибо, Отто,— сказала Клер.— У меня и впрямь чувство такое, что мы одна семья. И чудесная семья, ей-богу.

— Ш-ш! — насторожился Юрек.— Стреляют!

Все прислушались. Андрей приставил к уху согнутую ладонь.

— Автоматы? — спросил Норберт. Он так и замер с ведром в руке.

— Орудия.

Снова прислушались.

— О, верно, то есть моя ошибка,— пробормотал Юрек.

— Да откуда им быть, орудиям? — объявил Отто.— Ведь мы на необитаемом острове, кругом вода. Посмотрите, какие тут пальмы. К обеду у нас печеный кокосовый орех.

— Но я тоже слышал,— возразил Норберт.— Похоже на отдаленный гром.

Клер кивнула.

— И я.— Потом повернулась к Андрею: — Значит ли это, что подходят русские?

Тот пожал плечами:

— Пока трудно говорить, очень далеко. Может быть, просто ветер с той стороны.

— Ох, хоть бы они подошли! — горячо воскликнула Клер.— Так было бы радостно услышать их орудия.

Андрей негромко сказал по-русски:

— Мне довелось слышать войну на близком расстоянии. Нет среди ее звуков ни одного приятного.

— Я не то имела в виду.

— Понимаю. Просто я высказал вслух собственные мысли.

5

По-прежнему падал снег, но уже не так густо, и белый простор за окном был безмятежно прекрасен. Мужчины вымылись, Лини хорошенько помассировала Клер ноги, и теперь Клер спала. На широком подоконнике сушилось мужское и женское белье — ни дать ни взять в семейном доме после большой стирки. Гула орудий больше не было слышно, и беглецы о них позабыли. С жадной тягой к нормальной жизни, какая бывает у тех, кто долго жил в ненормальных условиях, четверо мужчин слушали Лини, рассказывавшую о своем малыше. Голос ее стал звучным, теплым, в уголках губ трепетала улыбка, и чувствовалось, что мальчик стоит у нее перед глазами как живой.

— Помню, уже перед самым нашим отъездом увидел он себя в большом зеркале на дверце шкафа. То придвинет лицо, то отодвинет, потом стал на колени и опять смотрится, а мордочка такая удивленная! Посмотрелся и давай дергать дверцу — хотел узнать, где прячется тот, другой, мальчик.— Она негромко рассмеялась, и мужчины заулыбались.— В тот же самый день сидит он у меня в спальне, в уголке, и играет с табуреткой — то потянет к себе, то отпихнет, а сам что-то лепечет. И вдруг—надо же! — рванул к себе табуретку, и она как стукнет его по голове. Он ее оттолкнул — сердито так, потом посмотрел на меня, показал на головку и давай табуретку шлепать.— Она коротко рассмеялась, потом вздохнула.— В этом возрасте малыши такие прелестные, забавные. Еще он такое любил: взберется на лестницу, сядет и вниз — бум, бум, попкой по ступенькам. А еще любил залезать под столы, например под письменный стол мужа, и под свою кроватку. Ой, я про него часами могу рассказывать.

— Рассказывайте, рассказывайте,— попросил Норберт. Он не сводил с нее глаз и улыбался с откровенной нежностью, глубоко ее трогавшей.

— А вам не скучно? — счастливым голосом спросила она и про себя отметила, что сейчас Норберт совсем не такой, каким был всего сутки назад, когда она его увидела впервые. Суровое, исхудавшее лицо его заметно смягчилось.

— Скучно? Ну что вы, нет конечно. Кто же не любит детей? Так приятно вас слушать.

— А ребятишки в таком возрасте уже говорят? — спросил Отто.— Я что-то позабыл.

— О да. Только не фразы, а отдельные слова. Но понимают уже ой как много, в общем-то все. Я, бывало, надивиться не могу — как это ребенок научается понимать, что ему говорят.

Спросишь его: «Йози, сейчас купаться будем, хочешь?» А он: «У-у, пася» — это значит: «Хочу купаться». А потом, если я сразу не унесу его в ванну, дергает меня за руку и спрашивает: «Пася? Пася?» Все дети любят купаться.

— Пася-пася,— с улыбкой повторил Норберт.— А какие еще слова он знал? «Папа» и «мама», да?

— Да, но выговаривал он их на свой лад — до того забавно! Что-то вроде «мамба» и «паэп». Как все детишки в этом возрасте, он называл разные вещи одним и тем же словом. Ну вот, например, «етька» у него означало и «конфетка» и «печенье». По-маленькому и по-большому просился одинаково—«ди-ди», а всякая еда у него была «ням-ням».— Она опять засмеялась.— А вместо «киса» он говорил «кититити». И почему у него получалось такое длинное слово, ума не приложу. Ой, еще у него было одно ужасно милое словечко: «зими». «Зими Йози» — значит: «Возьми Йози на руки».

Где-то неподалеку громко залаяла собака, и смех Лини разом оборвался.

— Уходить от окна!—резко бросил Андрей, и все, пригибаясь, разбежались в разные стороны.

А лай не прекращался — сердитое гавканье большой собаки.

— Давайте спрячемся наверху! — испуганно крикнула Лини.

— Постойте, я слышу детский голос,— сказал Юрек и торопливо подполз к окну сбоку. Лай все не умолкал, но напряженно сгорбленная спина Юрека распрямилась.

— Ничего страшного. Два хлопца в снежки играют.

— А вдруг они заберутся сюда и обнаружат нас? — забеспокоилась Лини.

— Я посторожу. Но в том есть что-то странное.

— Что именно? — спросил Норберт.

— Вот уже пять лет в Польше собак нет. Тех, что получше, немцы забрали для охраны, остальных перебили. Польская семья не может иметь собаку — то есть против правил. Откуда же здесь, в деревне, собака?

— Ну, припрятать собаку не так уж трудно,— заметил Отто.

— Да, но то карается, могут арестовать.

— Послушайте-ка,— с жаром заговорила Лини.— Ведь это доказывает, что место здесь безопасное, разве нет? Если б сюда наведывались немцы, мальчишкам не разрешили бы выводить собаку со двора.

Отто усиленно закивал:

— Верно. Значит, тут безопасно.

— Да, безопасно, очень хорошо,— сказал Андрей.— Но лучше мы все-таки дежурим. Один здесь,— он показал на окно,— один

наверху, смотреть в другая сторона. Сменяться каждый час.

— Но ведь после жатвы немцы здесь не появлялись — так ты говорил? — обратился Отто к Юреку.

— Так. Немцы не появлялись.

— Чего ж тогда беспокоиться?

Андрей пожал плечами.

— Но так больше безопасно. Так делать правильно.

Отто растянулся на полу, закинул руки за голову.

— Семь лет я постоянно озираюсь: нет ли поблизости эсэсовца? Глаза, сердце, печенка — все во мне устало от этого. А ты, если хочешь, стой попусту, карауль.

— Норберт, Юрек,— сказал Андрей.— Вы дежурите со мной по очередь?

— Ну, зевать, конечно, не приходится,— сказал Норберт.— Но зачем караулить круглые сутки — тоже не пойму. Просто не вижу причины.

— Тогда я дежурю один,— возмущенно бросил Андрей.— Это очень необходимо.— И он стал у оконного косяка.

Норберт пожал плечами, сел.

— Лини, расскажите нам еще что-нибудь про Йозефа. Наверняка вы были замечательной матерью.

И Лини принялась рассказывать, как малыш обожал прятаться, а когда его находили, закрывал глаза. Вскоре Андрей повернул к ней голову и, приложив к уху ладонь, стал внимательно слушать. А потом, как и все, расплылся в улыбке и окончательно позабыл, что стоит на посту. Ибо им, так же как и остальными, владело неосознанное желание, куда более властное, чем доводы разума: избавиться наконец от невыносимого напряжения. Вся их жизнь в Освенциме изо дня в день была сплошным напряженнейшим усилием: надо было преодолевать страх и скрывать ярость, держать себя в кулаке, скручивать ободранные нервы и сохранять самообладание перед лицом невообразимого ужаса. Просыпаясь поутру, они никогда не могли быть хоть сколько-нибудь уверены, что доживут до вечера. И теперь, в благословенном покое этого убежища, просто немыслимо было по- прежнему сохранять неусыпную бдительность.

Чистый, медленно падающий снег, деревенский пейзаж, где ничто не наводило на мысль об ужасах и опасностях, помогли им ощутить наконец безмятежную легкость, которой они так жаждали. Слушать о малыше было не просто радостно — они словно бы погружались в блаженное забытье. И воображение их жадно устремлялось вслед за Лини то в ее чистенькую уютную квартиру, то на берег сверкающего под солнцем канала то в парк

где все цветет и благоухает. Сами того не ведая они создавали для себя некую утешительную иллюзию — им казалось, что по счастливой случайности они вдруг очутились в безопасном уединенном приюте и что это всего-навсего короткая, но удивительно приятная остановка на пути в прекрасное завтра. Он обретался где-то между небом и землей этот уединенный, милый их сердцу мирок, и единственными его обитателями были четверо мужчин и две женщины.

Глава четвертая. СПАСИБО, АНДРЕЙ

1

— Мне исполнилось в июле только двадцать,— начал Юрек со своей быстрой, покоряющей улыбкой.— Так что моя история будет короткая. Я есть с Кракова. Мой отец был доктор, профессор в университете.

— Из Кракова?— воскликнула Клер.— Мой начальник, тот самый гестаповец, ездил туда по выходным.

— Это есть близко от лагеря, сорок километров. От Франции вам было ехать до Освенцима далеко, да-а?— Он усмехнулся.— А мне — так, приятная прогулочка.— Он помолчал, лицо у него стало серьезное.— Немцы пришли до Кракова, и через неделю они расстреляли моего отца. Знаете за что? Не за сопротивление. За то, что он интеллигент. То есть политика фашистов — убивать всех образованных поляков.

— Ты это точно знаешь?— взволнованно спросил Норберт.

— Точно. Они расстреляли всех профессоров нашего университета, кого нашли.— то же самое в Варшаве, то же самое везде. Некоторых, правда, не убивали — в лагерь отправляли. Но то есть все едино.

— А остальных поляков заставляли на себя работать?

- Да.

— 1акой план был для все славяне, для моя страна тоже,— вставил Андрей.

— Мои братья немцы!— с горечью бросил Норберт.

— Ну дальше,— попросила Лини.

— Скоро потом умерла моя матка. Она еще раньше была больная раком. Молодая, всего тридцать четыре года.— Он глубоко вздохнул.— Красавица была и такая добрая. Я сильно ее любил, сказать вам не могу, как сильно. То было трудное дело — скрывать от нее про отца.

— Она так и умерла, не зная, что с ним сталось?— спросила Лини.

— Да, она тогда уже была в больнице. Я ей говорил: отец прячется.

— А тебе сколько тогда было?— поинтересовался Норберт.

— Четырнадцать.

— И ни братьев, ни сестер?

— Нет.

— И родственников никаких?— спросила Клер.

— В Кракове никаких, а в деревне была дальняя родня, крестьяне. Похоронил матку, поехал до них. Три года работал на хуторе. Потом, когда вырос, пошел до леса, стал партизан.

— А у вас есть партизаны? Дерутся с фашистами?— оживился Норберт.

— А как же — Армия Людова. Во многих районах воюет.

— Я об этом слышала,— подхватила Клер.— Гестаповцы между собой говорили.

• — Был в отряде десять месяцев, да-а? А в апреле прошлого года поехал до Кракова — задание имел от разведки. Попался эсэсовцам после комендантского часа, а документов нет. Ну они меня в Освенцим.— Он улыбнулся.— Теперь могу делать крестьянскую работу, стрелять, жить в лесу, только совсем неученый. А чтобы стать кем я хочу, надо образование. Хочу стать доктором, сделать такое открытие — чтобы конец раку был, чтобы больше никто не умирал, как моя матка. То есть моя мечта. Но разве то можно, чтоб такой старый, как я — двадцать лет!— опять ходил в школу учиться вместе с хлопцами до четырнадцать?

— Что ж тут такого?— возразила Клер.— Недоучившихся среди молодежи, наверное, миллионы. После войны всем им дадут возможность закончить образование.

— Вы так думаете, да-а?— оживился Юрек.

— Уверена.

— О! Как я рад. То есть моя великая мечта.

— Прекрасная мечта,— поддержала его Лини. —Я уверена, ты своего добьешься.

Клер задумчиво проговорила:

— Я вот о чем размышляю: до какой степени все люди...

— Ну начинается философия,— перебила ее Лини.— Мне уже все признаки знакомы.

— Помалкивай,— беззлобно оборвала ее Клер.—: Я размышляю о том, до какой степени люди непохожи друг на друга. Вот мы с Лини такие близкие подруги, а мечты о будущем у нас совсем разные. Знаете, чего хочет Лини? Чтобы сын ее понятия не имел, что она была в Освенциме. Чтобы слово «Освенцим» в доме не произносилось. Она даже собирается свести с руки лагерный номер.

•— И сведу!— решительно объявила Лини.— Еще с татуировкой ходить.

— Твою руку, Лини! Я считаю — ты права,— подхватил Отто. — Я тоже намерен забыть эти годы начисто, как дурной сон.

— А я — как раз наоборот!— горячо сказала Клер.— Платья буду носить только с короткими рукавами, не ниже локтя,— пусть люди видят мой лагерный номер.

— Они будут думать, что это номер твоего телефона,— не без горечи бросила Лини.

— Нет, не будут: я стану им объяснять, что это такое. До конца своих дней буду рассказывать про Освенцим, про фашизм. Прямо на улице, если дадут. На каждом углу. Буду писать статьи в газеты. Разве для того мы страдали, чтобы люди позабыли о наших муках?

— Молодец!— с жаром воскликнул Норберт.— Я тоже так для себя решил! Надо очистить мою страну! Очистить ее сердца, ее мозг от грязи фашизма.

— Ничего себе работка!—фыркнул Отто.— Валяй, впрягайся!

— Вот я и собираюсь. А иначе для чего же я жил?

Наступило короткое молчание.

— А вы, Андрей?— спросила Клер.— О какой жизни вы мечтаете?

Он ответил не сразу — подыскивал нужные слова:

— Мой народ... знает, что такой фашизм... Знает... у нас столько погибло. Я хочу дарить музыку моему народу... Вам не понимать, какой он усталый — русский народ.

2

— А вот это вы знаете, я уверен,— сказал Андрей по-русски. — Бах, токката до мажор.

— Вероятно, знаю,— ответила Клер.— Но точно смогу сказать, только когда услышу.

Андрей стал негромко напевать. Голос у него не был поставлен, но мелодию он передавал верно, с большим чувством. Вот уже полчаса длился этот концерт: Андрей сидел, поджав под себя ноги, и очень сосредоточенно, без тени смущения, правой рукой водил воображаемым смычком, а пальцами левой пробегал вверх и вниз по груди, словно нажимая на струны. Но как ни был Андрей поглощен своим делом, после каждой вещи он посматривал на Клер, улыбка его предназначалась ей одной, и она это понимала. Теперь, когда Лини предупредила ее, Клер остро чувствовала: воздух насыщается электричеством. Норберт, не отрываясь, смотрел на Лини, массировавшую ей ногу, а Лини глянет на него, потом вниз, на ноги Клер, и опять искоса поглядывает на Норберта, словно не в силах отвести от него взгляд. Юрек лежал на спине, закрыв глаза, и Клер это было странно. Ведь, казалось бы, от него, такого красавца, можно было в первую очередь ожидать, что он примется любезничать с Лини, но он молчал, и Клер была этому рада. Беспокоил ее Отто. Заострившееся лицо его стало угрюмым, взволнованный взгляд перебегал с Норберта на Лини, с Лини на Андрея, с Андрея на нее, Клер. Он явно чувствовал, что образуются две пары и, считая, что его обошли, весь кипел.

Поэтому, едва Андрей кончил, Клер сказала:

— Отто, нельзя ли мне кусочек сахара?

Он просиял и тут же протянул ей два куска.

— А знаете, почему я попросила? Хочу поскорей набраться сил — тогда вы станцуете со мной вальс, как с Лини.

Он ответил с нервным смешком:

— Что ж, буду ждать.— И угрюмость его как рукой сняло.

— Да!— вдруг воскликнул Андрей и быстро сказал Клер по-русски: — Хорошо бы Юрек раздобыл дощечку. Примерно такой высоты,— показал он,— и такой ширины. Вот тогда можно было бы упражняться по-настоящему.

— А, знаю,— сказала Клер.— Многие музыканты берут такую дощечку в поездки, чтобы упражняться дорогой, да?

— Откуда вы знаете?— оживился Андрей.

— Был у меня один приятель, учился в консерватории по классу скрипки. Он мне много чего рассказывал про музыкантов...

— Ах, Клер, сколько у нас с вами общего! — с наивной радостью воскликнул он.— Ведь в музыке вся моя жизнь. Даже во сне я иногда играю. Просто замечательно, что вы любите музыку и так прекрасно в ней разбираетесь!

— Может быть, хуже разбираюсь, чем вам кажется,— сдержанно возразила она.

— Эй, о чем это вы там по-русски? — вмешался Отто.

Клер передернуло, но она заставила себя улыбнуться ему.

— Андрей хочет, чтобы Юрек принес ему дощечку.

Она пояснила зачем и показала Юреку примерные размеры.

— Вечером спрошу Кароля.

Потрогав отросшую на лице щетину, Норберт спросил:

— А что, есть какая-нибудь надежда одолжить у Кароля бритву?

— Спрошу.

— Боюсь, как бы мы Каролю не надоели,— сказала Клер.— Но у меня тоже просьба. Мои сапожки из сена разваливаются. Есть какая-нибудь надежда... г

Тут Юрек вставил по-польски:

— Я скажу сестре Кароля, что вы француженка, и попрошу, чтоб она одолжила вам свои балетные туфли!

Клер расхохоталась:

— Спасибо. У крестьянки их, наверное, пар двадцать, не меньше.

— Эй, вы над чем? — раздраженно спросил Отто.— Нам тоже охота посмеяться.

Клер объяснила, о чем речь. Потом, уже по-немецки, спросила Юрека, какой примерно размер обуви носит сестра Кароля.

Он пожал плечами, ухмыльнулся:

— Я ее всю разглядел хорошо — видел достаточно близко, а вот ногу не мерил, нет.

— Кстати, сколько ей лет, этой сестре? — заинтересовался Отто.

— Для меня слишком старая.— В глазах Юрека мелькнул озорной огонек.— Недурная собой, но ей уже под тридцать. Звать Зося.

— Замужем? — продолжал допытываться Отто.

-— Да. Он есть военнопленный, ее муж, работает на ферме в Германии,— ответил Юрек и снова обратился к Клер:—Может, лучше я посмотрю, какая у вас нога, н-е-ет?

Тогда Клер спросила Андрея по-русски, можно ли ей снять один из сапожков.

— Позвольте, я сам,— попросил он.— Чтобы потом мне было легче приладить обратно.

Увидев ее маленькую узкую стопу, Юрек весело засмеялся.

— О, то не есть нога крестьянки. Придется искать для вас детские туфельки.

— По-моему, с пальцев сошел отек! — обрадовалась Клер.— И они порозовели. Лини, это все твой массаж!

— Действительно, чуть порозовели, но цвет еще не совсем нормальный,— возразил Андрей.— Скажите Юреку, туфли не обязательно должны быть точно по ноге. Если окажутся великоваты, это даже лучше, только пусть прихватит каких-нибудь тряпок — обернем вам ноги, чтобы теплее было.

Клер перевела, и Андрей снова стал прилаживать ей сапожок из сена.

Вдруг послышался голос Норберта, стоявшего у окна:

— А ведь тут неподалеку дорога — примерно за полкилометра.

Лини, Отто и Юрек тотчас же подошли к окну. На грязновато-сером небе уже показалась луна — белесый, окольцованный дымкой шар. Пара измученных лошадей тащила фургон, четко темневший на белом снегу; впереди на открытом сиденье горбился возница.

— Интересно, куда эта дорога ведет,— сказал Отто.— Вот ведь странно: ни одной немецкой машины не видать.

— Благодарение богу, значит, он к нам милостив,— проговорила Лини.— Отсюда к этой дороге проторена тропка, значит, она, скорей всего, ведет к какому-нибудь городку.

— Узнай вечером у Кароля.— попросил Норберт Юрека.

— Ладно только имею сказать — беспокоиться не надо. Тут даже самолеты не летают. Заметили?

— А и верно! — воскликнула Лини.— Ей-богу, мы везучие!

3

— Так! — сказал Андрей.— Теперь другую.

Клер стояла, вытянув ногу, а он, опустившись на колени, сноровисто обертывал ей стопу сеном, навивая его слой за слоем длинными гибкими пальцами.

— Вы так ловко управляетесь с сеном — прямо как пекарь с тестом.

— Научился у одного крестьянина. Уж они утепляться умеют. Вы пальцами шевелить не забываете?

— Не забываю.— Потом в горячем порыве: — Вы так обо мне заботитесь! Я это очень ценю Андрей.

Он вскинул на нее ясные темно-карие глаза, и в них было столько чувства, что ей стало не по себе.

— Но мне приятно о вас заботиться, Клер. За какие-нибудь сутки вы стали мне очень дороги.

— Спасибо,— пробормотала она, стараясь прикрыть неловкость улыбкой.— А вы откуда родом?

— С Украины. Из Кривого Рога.

— Это маленький городок?

— Ну нет. До войны в нем было двести тысяч жителей. И довольно развитая промышленность! А ваш дедушка откуда?

— Из Смоленска.

— Почему он уехал из России?

— Не хотел служить в царской армии.

— Знаете, а вот я ни за что не уехал бы из России, даже если б жил в царское время. Не представляю себе, чтобы я мог быть счастлив в какой-нибудь другой стране.

— Ну а мне кажется — я не могла бы уехать из Франции. Андрей, вы коммунист?

— Вы хотите сказать, состою ли я в партии? Нет. Я так хотел стать первоклассным музыкантом, а это дело достаточно трудное. Оно поглощало все мое время.

— Но вы одобряете ваш общественный строй?

— Социализм? Разумеется. Капитализм — это же анархия, бессмыслица !

Клер усмехнулась:

— О-о, тут мой муж сильно бы с вами поспорил.

Андрей удивленно взглянул на нее:

— Вы были замужем за капиталистом?

— Точнее сказать, за специалистом. Химиком.

— А сами вы из богатой семьи?

Она бросила на него лукавый взгляд:

- Ну а если так, вы перестанете со мной разговаривать?

Андрей рассмеялся:

— Почему же, весьма поучительно поговорить с капиталисткой.

— Право, жаль вас разочаровывать, но мой дед всю жизнь был пекарем, а отец у меня оптик.

Он опять рассмеялся, ласково погладил ее стопу.

— Теперь можете сесть,— сказал он и сам примостился рядом с ней в неудобной позе.— А ваши родные знают, что вы были в Освенциме?

— Уверена, что нет. Им известно, что меня арестовали, а потом выслали, вот, собственно, и все.— Она невесело усмехнулась.— В прошлом году я частенько играла в одну и ту же глупую игру. Мысленно пишу письмо отцу, или маме, или дедушке, а потом сама же сочиняю ответ: как они себя чувствуют, и как питаются, и какой сейчас Париж. Длинные такие получались послания. Бред, да?

— Нет, почему же.— Он ласково улыбнулся.— Наверное, многим из нас без таких вот выдумок не выжить бы. В воображении своем я дал столько концертов — мне на них целой жизни не хватило бы. И что ни концерт, то триумф. Бывало, в Освенциме, в самые страшные минуты... Идет, скажем, общелагерная поверка... А я мечтаю: весь мир у моих ног, и критики беснуются от восторга.

Клер улыбнулась:

— Андрей, а у вас есть родные?

— Есть. Родители и две сестренки.

— И как они?

— Не знаю. Немцы захватили Кривой Рог в начале войны, а отбили мы его только год назад. Я писал, но ответа не получил, потом попал в плен. Вот уже три с половиной года не имею от них вестей. Только на одно и надеюсь — что их эвакуировали.

— А ваш отец тоже музыкант?

— Отнюдь. Он и грамоте-то стал учиться, только когда я пошел в школу. Читать мы с ним начали вместе. Совсем простой человек и очень хороший. Литейщик он у меня.

— Почему же вас вдруг потянуло к музыке?

— Родители мне рассказывали: я еще и ходить не умел, а только услышу музыку, сразу в такт раскачиваться начинаю. В пять лет я уже учился играть на скрипке...*-

Тут они одновременно вскинули глаза. Рядом стоял Отто и сердито хмурился.

— Так-так,— начал он брюзгливо.— Выкладываете ему, значит, про себя все, а от остальных таитесь?

— Да я ничего...— возразила было Клер, но ее перебил Андрей.

— Что это ты? — спросил он напрямик.— Что тут плохое — говорить по-русски? Я же не требую, чтобы вы не говорить по-немецки!

Отто занервничал:

— Скажешь тоже... Вы-то оба по-немецки понимаете, а мы по-русски ни бум-бум.... Несправедливо это к нам, остальным, несправедливо, вот так.

Клер примирительно проговорила:

— Андрей рассказывал мне о своей семье и о работе. Хотите я вам переведу?

— Что за вопрос? Конечно.

Но он лгал, и Клер это понимала: ясно же, что Андрей нисколько его не интересует. «Нет, так не годится. Не надо больше говорить по-русски,— решила она про себя, но вдруг все ее существо восстало против этого.— Merde, достаточно мною помыкали! — подумала она возмущенно.— Кто он, Отто, эсэсовец, что ли? Почему я должна гнуть перед ним шею? Вот нравится мне разговаривать с Андреем и буду! К дьяволу этого Отто!»

4

Едва стемнело, Юрек отправился к Каролю. Чтобы как-то отвлечься, остальные стали гадать, что он принесет на ужин. Но вскоре им это наскучило, и они попросили Андрея «сыграть».

— Играю одну испанскую вещь,— объявил он, глядя на Клер. — Очень романтичная.

Луна поднялась уже довольно высоко, и дымка вокруг нее исчезла. Была она чуть поменьше, чем в прошлую ночь, но очень яркая, и свет ее начал проникать в помещение. Один за другим беглецы подходили к окну, отходили, снова возвращались. Андрей перестал «играть». Разговор тоже не клеился — всех донимал голод. С ухода Юрека прошел добрый час, и Отто раздраженно спросил, сколько нужно времени, чтобы сварить картошку.

— Во всяком случае, не столько,— откликнулась Лини.

— Где же тогда Юрек? Ведь он должен был вернуться до того, как луна поднимется?

Едва прозвучал этот вопрос, как милый их сердцу уединенный мирок вдруг стал разваливаться на куски. Ведь Юрек словно пуповина, связывающая их с жизнью. Без него они совершенно беспомощны, беззащитны в мире сторожевых собак и эсэсовцев. Где же он?

Норберт стоял у окна. Отто и Андрей мерили шагами комнату. Женщины лежали рядом, завернувшись в одно одеяло, и шепотом делились друг с другом своими страхами.

— Знаю я, где он,— вдруг буркнул Отто.— Драпанул! Нашел семью, где его приняли, и бросил нас тут пропадать.

Все дружно запротестовали.

— Но где ж он тогда? Немцев поблизости нет, выстрелов мы не слышали, куда же он запропастился?

— Когда Юрек вернется, мы это выясним,— негромко ответил Норберт, и в голосе его прозвучала ирония.— А до той поры, дружище, можешь думать что угодно, только держи это при себе.

— Андрей, сыграйте, пожалуйста, что-нибудь,— попросила Клер по-русски.

— А что бы вам хотелось послушать?

— Девятую Бетховена и чтобы с хором, все честь честью.

Андрей рассмеялся:

— Предлагаю игру: я исполняю тему для виолончели из произведения какого-нибудь французского композитора, а вы угадываете какого.

— Идет.

— Первый, особо ответственный, номер нашей программы посвящается прелестным синим глазам Клер, а еще — вкусному ужину.

— Посвящение принимается, но только потому, что глаза все-таки упомянуты первыми.

— Если бы мне сильнее хотелось есть, они бы на первом месте не были.

Клер усмехнулась, потом спросила:

— А вас не тревожит то, что Юрек задерживается?

— Пока нет.

И он стал «играть». Прошла минута, другая, наконец Клер воскликнула:

— О, эту вещь я знаю. Трио Дебюсси. Верно?

— Совершенно верно, трио. Но только Сезара Франка.

Клер весело расхохоталась.

— Ах, Клер, когда вы вот так смеетесь, сразу видно, какая вы будете, когда окрепнете,— необычайно' живая, жизнерадостная. Такой вы и были, да?

— Пожалуй.

— Вы очень любили мужа?

— Да, очень.

— Мне так жаль, что он погиб. Но вы, наверно, давали ему столько радости, когда были с ним...

— Ради бога... Мне ведь больно...

— Ой, угораздило же меня. Простите, пожалуйста.

— Забудем об этом. Сыграйте еще разок Сезара Франка, ладно?— А потом про себя: «Да, он мне по душе. Ну почему во мне все заглохло? Нет, не так все должно быть. Когда выходишь из лагеря, надо, чтоб были силы приласкать человека, который тебе мил,— тут же, немедленно».

5

Уже почти все помещение было мягко освещено голубоватым светом луны. Андрей вдруг перестал напевать.

— Сколько время проходило? — спросил он.— Два часа?

Норберт, глядевший в окно, ответил:

— Да, что-то около того.

Попросив Клер переводить, Андрей перешел на русский. Его мнение такое: больше ждать Юрека нельзя, нужно идти его искать. Чтобы Юрек нарвался на немцев — сомнительно. Скорее всего, какая-нибудь другая беда: он мог свалиться в ров или поскользнуться на льду и сломать ногу. Кому-нибудь из мужчин — одному или двоим — надо отправиться на поиски.

— Лучше пускай один из мужчин и я,— предложила Клер.— Все- таки я единственная говорю по-польски. А нам, может, придется зайти к Каролю.

— Ладно. Тогда вы и я.

— Норберт крепче вас.

— Очень вас прошу: если пойдете вы, пусть вторым буду я.

— Узнаем сперва, что думают по этому поводу остальные.

Она начала было переводить, но тут Норберт крикнул:

— Он идет!

Все бросились к окну и, возбужденно переговариваясь, стали смотреть на приближающегося Юрека. В одной руке у него была продовольственная корзинка, в другой — дощечка. Он увидел их в лунном свете и махнул дощечкой. Норберт пошел к двери, все двинулись за ним.

— Черт подери, ну и светит лунища — каждый его шаг за километр виден,— нервничал Отто.

— Но он, слава богу, цел и невредим,— сказала Лини.— А это главное.

Норберт уже стоял в проходной, держась за ручку наружной двери.

— Пока обе двери не будут закрыты — никаких разговоров,— потребовал он и впустил Юрека — улыбающегося, в лихо заломленной шапке.

— Бритву имею,— сообщил он весело,— туфель для Клер не имею, а вот то есть виолончель...— И он протяну *л* Андрею дощечку.

Но тут разом заговорили Отто и Норберт:

— Что случилось?

— Где ты пропадал?

Опустив корзинку, Юрек еще больше сдвинул шапку на

затылок, негромко рассмеялся.

— А мне позволено будет соврать?

— Что за чушь ты городишь! — взорвался Отто.— Мы тут жутко за тебя переволновались. Там что, немцы?

— Нету немцев.

— Так где же ты все это время околачивался?

И снова негромкий счастливый смех Юрека.

— Прошу у дорогих друзей извинения. Кароля не было дома. А его сестра Зося — очень милая женщина. Она не есть слишком старая для меня.

На миг воцарилось молчание, потом грохнул взрыв хохота. Смеялись оттого, что на душе стало легче, и оттого, что признание Юрека прозвучало так забавно, но еще и от возбуждения. Оно вдруг стало явственно ощутимым, воздух так и затрепетал: больше они уже не были одной семьей — теперь это были четверо мужчин и две женщины.

«Ай да Лини! — подумала Клер.— Ведь она это предвидела!»

6

Передавая Клер миску с едой, Лини наклонилась к ней и зашептала по-французски:

— Если б мы с Норбертом сейчас остались одни, он завел бы об этом разговор, я чувствую.

— Вот и слава богу, что вы не одни.

— Хороша подруга, нечего сказать.

— Ну это ты зря. Сама подумай: Юрек нашел себе девушку, так что он не в счет; Андрей, видимо, тоже не в счет — у него ко мне возвышенные чувства, и я уверена, он поймет мое состояние. А Отто на стенку полезет, если вы с Норбертом будете вместе. Он натворит бед, ручаюсь.

— Завтра вечером нас вообще, может, не будет в живых. Так что говорить о каких-то там бедах просто смешно.

— А я верю, что мы будем живы, и потому ничего здесь смешного не вижу. Ты не могла бы немного повременить?

— Тебе легко рассуждать, ведь ты пока ничего не чувствуешь. А мне нужно знать, что я снова женщина. В жизни мне ничего так не было нужно.

— Лини, милая...

7

Ужин оказался роскошный: сваренная целиком свекла (они смаковали каждый ее кусочек и ахали, до чего она сладкая), картошка в мундире, каждому по ломтику черного хлеба, желудевый кофе — чуть теплый, неподслащенный и все-таки восхитительный после мерзкого лагерного пойла.

— Кароль — святой! Святой! — объявил Отто, проглотив последний кусок, и блаженно рыгнул.— Простите, Клер, что прерываю вас, но какой ужин, а?! Ну рассказывайте дальше.

— Да, так вот, сейчас вы увидите, как тщательно немцы готовились к войне. Чтобы получить ученую степень, муж должен был сделать оригинальную научную работу и опубликовать реферат. Реферат был, кажется, по бензину, что-то в этом духе. А потом он стал работать совсем в другой области — по агрохимии. — Клер сделала паузу, чтобы отправить в рот картофелину. Ела она, как обычно, медленнее других, и от ее порции оставалась еще добрая половина.— Когда началось вторжение, мы жили в деревне под Парижем, Пьер там работал. В армию его не взяли — сердце было неважное. Как и все, мы бежали на юг. Пьер хотел попасть в Тунис, но ему никак не удавалось договориться, чтобы нас туда переправили. Так что после перемирия[10] мы поехали в Гренобль — там университет, и Пьер устроился на преподавательскую работу.

— А это в какой части Франции? — спросил Андрей. Он напряженно слушал ее, приставив к уху согнутую ладонь.

— В вишистской[11]. Тогда она считалась свободной зоной, немцы оккупировали ее лишь два года спустя. Да, вот тут уже начинается интересное: так, через месяц после перемирия заявляется к нам представитель вишистских властей, разумеется коллаборационист, и сообщает Пьеру, что его ищут немцы—с того самого дня, как взяли Париж: какой-то научно-исследовательский институт в Берлине заинтересовался этим его рефератом по бензину, и, если он поедет туда работать, ему обещают хороший оклад. Пьер, конечно, отказывается. А дальше уже совсем интересно. Оклад сразу же увеличивается. Пьер снова отказывается. Коллаборационист пробует разжечь его честолюбие: он-де будет там работать с крупными учеными, приобретет широкую известность. Но Пьер ни в какую. Тогда этот тип пытается сыграть на его патриотизме. Франция и Германия теперь, мол, союзники, и долг каждого француза — сотрудничать с «новым режимом». Пьер отвечает, что между Германией и Францией такой же союз, как между волком и ягненком, которого

тот задрал.— Клер усмехнулась.— Вот тут коллаборационист взбесился: вы, говорит, коммунист, английский прихвостень. А Пьер ему: ну а вы нацистский прихвостень, maquereau. По-французски это значит «сводник», словцо оскорбительное, ничего не скажешь. Только зря он это сказал — вишист был огромный, здоровенный, а Пьер весил меньше меня. Так что из схватки он вышел с разбитым носом.

— Молодец Пьер! — сказал Юрек и радостно засмеялся.— У нас, поляков, тех maquereaux сколько хочешь.

— А дальше они что? — спросил Андрей.

— Ничего. Мы ждали неприятностей от вишистской полиции, но она нас не трогала. Только через каждые четыре месяца являлся какой-нибудь представитель властей — все с тем же предложением. Ясно было, что они о Пьере не забывают. И вот... — Она вдруг остановилась, потом: — Юрек, вы зеркало раздобыли?

- Да.

— Ой, как же я раньше не вспомнила! А сейчас еще можно что-нибудь увидеть? Как там луна, света хватит? Вы не взглянете?

— Нет, сейчас уже не можно,-— сказал Юрек, но все-таки поднялся и подошел к окну. Вынул из кармана зеркальце, повертел его так и этак, потом вернулся к остальным.

— Утром вы будете толще,— сказал он и коротко рассмеялся.

— Еще бы! Ручаюсь, с тех пор как мы вылезли из сена, я прибавила полкило, не меньше. И чувствую себя гораздо крепче.

— Давай я тебя помассирую, а? — предложила Лини.

— Ну это будет замечательно. Давай.

— А вы рассказывайте дальше,— попросил Норберт.— Представить себе не можете, до чего интересно узнать, что творилось в такой стране, как Франция. Мы же с Отто решительно ничего не знаем.

— Так на чем я остановилась? Ах да, в Гренобле мы пробыли до ноября сорок второго. А в ноябре американцы и англичане высадились в Северной Африке. Немцы использовали их высадку как предлог, чтобы оккупировать Южную Францию. Сидим мы за завтраком, вдруг сообщение по радио. Ни Пьер, ни я не сказали ни слова, только взглянули друг на друга, и в голове у меня пронеслось: «Пьеру надо бежать». И меня сразу стошнило. Такое со мною всегда бывает в тяжелую минуту,— призналась она и, подумав немного, добавила:—Впрочем, теперь уже нет: Освенцим меня от этого излечил.— Она надолго замолчала, а когда заговорила вновь, голос ее звучал так спокойно, словно все это больше уже не могло ее волновать.— Ну и вот, мы решили: полчаса у нас наверняка есть — обдумаем, как нам быть. Не

удалось: немецкая военная разведка успела связаться с вишистской полицией в Гренобле, и они явились, когда Пьер укладывал чемодан. Едва раздался звонок, я поняла — это за ним, сказала ему, чтобы-скорей уходил через черный ход. Как только он вышел, я их впустила. Плету что-то насчет того, куда он ушел, вдруг открывается задняя дверь и его вводят в наручниках. Оказывается, дом был окружен.

Норберт спросил:

— А ваш муж знал, почему их заинтересовала его работа?

— Ему так и не сказали. Сам он ничего особенного в ней не видел— так, очередная статья молодого химика. Мы могли только догадываться, что она каким-то образом связана с исследованиями, которые проводились в этом институте. Пьер не раз говорил — там, в институте, его, должно быть, очень переоценивают.

— Они вас тоже забирали? — спросил Андрей.

— Да,— Клер отодвинула миску, так и не доев ужина.— Они рассчитывали, что я уговорю Пьера. Нас отправили в Тулузу и там посадили в тюрьму. А знаете, как нас везли? В штабной машине, и сопровождали нас два офицера — до того обходительные, до того культурные и по-французски говорили так изысканно. Обращались с нами поначалу прекрасно. Дали знать моим родным, что они могут посылать нам продовольственные посылки. Раз в неделю эти два офицера беседовали либо с Пьером, либо со мной — по отдельности, а иногда с нами обоими. Так продолжалось полтора месяца. Потом, сразу же после того как Лини увезли, посылки вдруг прекращаются, и нас обоих сажают в одиночки, на хлеб и воду; в камерах даже света не было. А неделю спустя — заключительное собеседование, и Пьера спрашивают в лоб: «Да или нет? Если нет, вас отправят в концентрационный лагерь и вашу жену тоже. И не рассчитывайте, что когда-нибудь оттуда вернетесь. Не выйдет!»

И все-таки Пьер сказал: «Нет». Тогда один из офицеров говорит: «Но вы ответили, не спросив жену. Может, Берлин придется ей по душе». И тут Пьер сказал такое, от чего я почувствовала себя счастливой, даже в ту минуту. Он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит этому офицеру: «Когда уважаешь жену, не задаешь ей дурацких вопросов».

Андрей вздохнул, явно растроганный, очень тихо сказал по-русски:

— Он внушает мне глубочайшее уважение, ваш Пьер, и вы, дорогая моя Клер, тоже.

— Значит, потом Освенцим, да? — спросил Отто.— А что стало с вашим мужем?

Ответ прозвучал спокойно, сдержанно:

— Погиб в Бжезинке полтора года тому назад.

Никто не сказал ни слова, не выразил сочувствия вслух. Ведь почти все, кто попадал в Бжезинку, погибали, и для них, уцелевших, любые слова тут были излишни.

Помолчали, потом заговорил Норберт:

— Я вот что хотел спросить — ведь вы, девушки, были в одной команде. Как же так получилось, что одна больше исхудала, другая меньше? Питались-то вы одинаково, верно?

— Клер два раза кряду болела тифом,— объяснила Лини.— Сперва брюшным, а как стала поправляться, на одну койку с ней положили больную сыпняком, и она заразилась. Вообще то, что она сейчас здесь сидит, просто чудо. Видно, бог над ней сжалился.

— А какие фурункулы у меня были летом — пожалуй, пострашней тифа.— Клер только усмехнулась.— А Лини, наверное, единственная во всем Освенциме ничем всерьез не болела, ни разу. Подхватила однажды чесотку, и все.

— Мы, голландцы, крепче других,— улыбнулась Лини.

— Пусть кому-нибудь другому рассказывает,— отрезала Клер. —; Через мои руки проходили списки умерших, я-то знаю. Нет, скажите, друзья, как мы все это вынесли, как уцелели? Как выстояли душевно? Не сошли с ума? Норберт, каким образом удалось вам так долго продержаться?

В сгущающейся темноте прозвучал голос Норберта:

— Я знаю только один ответ: человек куда выносливей, чем мы думаем. Но лично мне просто все время везло. Ни разу я не попал в такую команду, где загибаются от работы за какой-нибудь месяц. Я, видите ли, плотник. Был в трех лагерях, и везде требовались бараки, дома для эсэсовцев и всякое такое. А чтоб выколачивать из нас работу, им все-таки приходилось нас кормить: ведь надо, чтоб человек мог взбираться на стремянку, вбивать гвозди. Вот так я уцелел физически — просто везло. Ну а как выстоял духом — это разговор другой. Тут дело такое: что бы ни случилось, знай одно — надо выжить во что бы то ни стало. Я не из образованных, у меня и слов таких нету, чтобы это как следует объяснить. Разные бывали полосы... Да вы, девушки, сами два года оттрубили, кое-что по себе знаете.

— А вам, Отто, как это удалось? — спросила Клер.

— Тоже везло. В Маутхаузене у меня работа была не пыльная — в больничной команде. И потом, нам, австрийцам, разрешали получать посылки из дому. В Освенциме работал на кухне, там можно было «организовать» кое-что из еды. Но я вам вот что скажу: весь фокус в том, чтобы продержаться на плаву первые

месяцы — это самое трудное. Чаще всего именно в первые месяцы человек сдается — и погибает. Норберт, верно я говорю? Просто не может такого вынести.

— Ой, хватит этих разговоров! — возмутилась Лини.— И что мы все про лагерь да про лагерь? Неужели с нас еще недостаточно? Андрей, сыграли бы нам.

— Постой, Лини,— сказала Клер.— Я хочу задать один вопрос.

— Опять философия, чует мое сердце. Отложи на потом.

— Но это очень серьезный вопрос. Я хочу знать...

— До чего твои философские разговоры глубокомысленны. Неужели все французские красотки такие серьезные?

— Умолкни, а то не дам больше массировать.

— Ух ты, ух ты. А вот у меня и вправду важный вопрос: какой город красивее Парижа? Отвечаю: Амстердам. Друзья, давайте после войны встретимся в Амстердаме!

— Вопрос такой,— не отступалась Клер.— Смогли бы мы пройти через все это еще раз? Я хочу сказать: если бы мы знали заранее, что нас ждет, хватило бы у каждого из нас духу снова сделать то, за что его посадили?

Сразу стало очень тихо. Потом заговорила Лини, довольно сердито:

— И зачем такое спрашивать? Никогда нельзя знать наперед, к чему приведет тот или иной поступок. Так что нет в нем никакого смысла, в твоем вопросе.

— Есть, Лини,— негромко возразил Норберт.— Как раз это со смыслом вопрос. Но кто может ответить на него по-честному? Вопроса мучительней ни для кого из нас быть не может.

Отто вскочил:

— Черт подери, а я могу ответить по-честному! — выкрикнул он с яростью.— Ни шиша они не дали ни мне, ни миру, эти мои пышные речи социалиста.— Голос у него срывался.— Ох, если б можно было все начать сначала... Уж я держал бы язык за зубами, будь он трижды проклят.— И он стал выкрикивать: —Нет на свете ничего, за что стоило бы заплатить такими семью годами! Столько мук! Такой ад! Такой ад!

— Тихо! Тихо, ну? — Норберт встал, схватил Отто за плечи: — Возьми себя в руки.

Отто умолк, теперь слышались только его тихие, сдавленные рыдания.

— Ой, ну пожалуйста, пожалуйста,— со слезами в голосе взмолилась Лини.— давайте уговоримся: больше никаких разговоров о войне, никаких разговоров о лагере. Господи, мы же на воле, так давайте думать только о хорошем — о жизни, о

доме...

Она уже не говорила, а горько всхлипывала. Клер обняла ее, зашептала :

— Лини, милая, не надо. Ладно, уговорились: больше не буду. Прости меня.

Вдруг Андрей возмущенно воскликнул:

— Да что это я! Теперь я имею виолончель, почему же не играю? Сейчас играю вам что-нибудь Мендельсон. Вот увидите — он приносит сюда солнце, ваш родной дом, веселые танцы. А вы слушайте.

И, поставив дощечку между колен, он «заиграл».

8

Они лежали, завернувшись в одно одеяло и тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Клер прошептала:

— Лини, я передумала. Каждая из нас вправе делать все, что ей вздумается, все-все. Когда мужчины уснут, почему бы тебе не разбудить Норберта? Он на том краю.

— Угу,— ответила Лини с приглушенным смешком.— Я знаю, где он. Только будить его не стану.

— Боишься, как бы другие не проведали?

— Плевать мне на это.

— Что ж тогда?

— Он сам должен сделать первый шаг. Я не могу.

— Ведь он наверняка знает, что нравится тебе, так почему он?..— Клер не договорила.

Лини усмехнулась.

— Думаю после стольких лет он не очень-то представляет себе, как подойти к женщине.

— Франция дает совет Голландии: расспроси Норберта о его жизни/пусть видит, что ты проявляешь к нему интерес.

— Не сомневаюсь, искушенная француженка вроде тебя может дать немало пенных советов, как завлечь мужчину. Но уж такие простые вещи я и сама знаю. Приступила к делу еще утром.

— Когда? Я ничего не слышала.

— Ты спала.

— И что же ты о нем узнала?

— Он из Ростока. Это на севере Германии, порт такой. Работал на строительстве.

— Женат?

— Да.

— Почему его посадили?

— До этого мы не дошли. Спокойной ночи, Клер. Мне надо выспаться, хочу быть красивой.

— Спокойной ночи.

— Знаешь, что у меня сейчас перед глазами?

— Вы с Норбертом, разумеется.

— А вот и нет. Нечто чистое и возвышенное.

— Что же?

— Восхитительный швейцарский сыр.

9

Ночью вдруг стал слышен отдаленный перекатывающийся гул орудий. Клер не спала, она сразу же села и прислушалась. Вскоре от гула проснулся Андрей — хоть слышал он плохо, но звуки далекой канонады улавливал с повышенной нервной чуткостью. Остальные спали по-прежнему крепко.

Выскользнув из-под одеяла, Клер подошла к окну. Все выглядело так мирно — сверкающий под луною белый снег, безмятежное звездное небо. Сзади скрипнули башмаки, она обернулась. Даже в темноте она сразу узнала Андрея — по нескладному мешковатому пальто. Он встал рядом с ней у окна, радостно зашептал:

— Слышали, а? — И поглядел в окно.— Фронт приближается. Должно быть, прорыв.

Клер обошла его и, встав с левой стороны, зашептала в здоровое ухо:

— Орудия далеко?

— Километрах в пятнадцати, может чуть дальше.— Он затаил дыхание, вслушался.— Ага, «катюши»! Слышите — высокий такой звук.

Клер прислушалась: ничего похожего, лишь отдаленный гул да уханье, словно погромыхивает гром.

Настороженно подняв палец, Андрей ждал.

— Ага, вот! Слышите?

И тогда за громом залпов она различила острые, словно бритва, воющие звуки — очень высокие, частые.

— Да. Что это?

— «Катюши», наши реактивные установки. От их снарядов по небу такие огненные хвосты — может, увидим из окна с той стороны дома. Хотите взглянуть?

— Да, пойдемте.

. Он взял ее за руку, и они медленно двинулись к задней двери, ведущей в пустой цех. Там было не так темно. Сквозь окна в дальней стене проникал лунный свет.

— А почему у них такой воющий звук?

— Так ведь у реактивных снарядов скорость в восемь раз больше, чем у артиллерийских. «Катюша»— орудие колоссальной мощи. Я знаю от пленных немцев — враг перед ним трепещет.—- Они подошли к окну.— Следите, в небе будут вспышки,— сказал он, взволнованно вглядываясь в ночь.— На комету похоже.

За полем прямо против окна был лес, через который они пробирались накануне вечером. Деревья стояли высокой черной

стеной. В освещенном луною небе было спокойно, над лесом белело лохматое облачко.

После короткого молчания Клер спросила:

— Видите что-нибудь? Я — ничего.

— Я тоже. Обзор незначительный.

— Может, русские дальше, чем вам кажется?

— Нет! — ответил он убежденно.— Раз слышны «катюши», значит, не дальше. Что за чудо эти «катюши»! Кстати, у нас и песня есть такая — «Катюша».

— Постоим еще немножко, ладно? Может быть, все-таки увидим что-нибудь?

— А вы не очень устали?

— Устала, но спать не могу. Слишком возбуждена.

Он повернулся, пристально посмотрел на нее.

— Догадываюсь почему: из-за разговора о вашей прошлой жизни, о муже.

— Может, и так.

Он помедлил:

— Клер, мне хотелось бы задать вам один очень личный вопрос. Отвечать на него необязательно. Можно?

— Можно.

— Днем я заговорил о вашей жизни с Пьером, и вы сказали: «Не надо, мне ведь больно». А вечером сами рассказывали о нем с таким каменным спокойствием... Простите, но мне это показалось странным.

Клер промолчала.

— Я не хотел вас обидеть.

— А я не обиделась.

— Моя мама говаривала: «Коль выплаканы все слезинки, не будет больше и смешинки». Такая выдержка, как у вас, выедает Душу.

— И да и нет,— медленно проговорила она.— За эти два года я пролила море слез — наедине с собой или с Лини. Но на такой работе, в такой команде... Да не научись я держать себя в руках, я бы уже десять раз погибла...— Она помолчала.— Или сошла бы с ума. Но мне хотелось жить, ведь у меня есть цель. Вот я и вымуштровала себя. Так что сегодня я сдержалась без труда. Не хотелось портить людям настроение, вот и все. Сами видели, до чего неприятно это выглядело, когда Отто вышел из берегов.

— А в какой команде вы работали?

— В политическом отделе. В Освенциме.

— Переводчицей?

— Да. И делопроизводителем. Мой шеф был заместителем начальника лагерного гестапо.

— Но как же вас держали в Освенциме? Все говорили, что там мужской лагерь?

— Нет, был там и барак для женщин, только отгороженный от мужских. Гестаповцам требовались машинистки, делопроизводители, конторщицы — ну как всякой администрации. Мы никогда не видели заключенных из мужского лагеря, а они нас.

После некоторой заминки Андрей решился задать ей еще один мучивший его вопрос:

— Клер, ведь вы находились в такой изоляции — откуда же вы можете знать точно, что Пьер погиб?

Она промолчала.

— Может, не хотите об этом говорить?

— Нет, я вам отвечу,— сказала она и с горьким вызовом добавила: — Сохранять мне при этом выдержку или нет?

Он снова заговорил:

— Мне важно, чтобы вы знали: со мной вы всегда можете быть такой, как вам хочется.

— Я просто пошутила.

— А я — нет.

Мягко:

— Знаю, Андрей.

— Так расскажите.

Она отвернулась и, глядя в окно, сдержанно заговорила:

— Шульц, мой начальник, каждую неделю отправлял в Берлин всевозможные сводки. В частности, о числе заключенных: столько- то прибыло, столько-то переведено в другие лагеря, столько-то умерло.

— И вы составляли списки?

— Нет, но иной раз мне приходилось с ними сверяться. И вот однажды утром Шульца срочно запросили из Берлина насчет какого-то заключенного. Стала я искать его в списках — ни в одном лагере не числится. А между тем было известно, что всего три недели назад его доставили в Бжезинку. Тогда Шульц подходит к тому шкафу, где хранились документы по «селекции»[12], вынимает одну из папок и говорит: «Должно быть, он быстро скис. Ну-ка глянь, может, уже ушел в трубу?»

— Как? — ахнул Андрей.— В разговоре с вами он употребил слово «труба»?

Клер повернулась, взглянула на него.

— Почему это вас удивляет?

— Потому что в Бжезинке заключенный никогда не произносил слова «газ», «крематорий», «труба», если знал, что его может услышать охранник,— это каралось смертью.

— Да. Теперь припоминаю. Но в нашей команде обо всем говорилось в открытую. Гестаповцев не тревожило, что мы слишком много знаем: ведь считалось, что все мы, работающие на них, неминуемо «уйдем в трубу». И то, что нас не успели ликвидировать,— чистейшая случайность.

— Боже мой,— едва слышно выдохнул Андрей.— Что вам пришлось пережить!

— Меньше, чем другим, куда меньше,— спокойно возразила она.

— Ну, рассказывайте дальше.

Клер снова отвернулась, стала смотреть в окно.

— В папке были списки тех, кого за последние две недели после селекции отправили в газовые камеры. И на каждом списке — дата. Фамилия мужа была на втором листке.— Она помолчала секунду, потом снова заговорила: — И когда я ее увидела, что-то со мной случилось, я и по сей день не понимаю что. Сознания я не теряла: когда пришла в себя, по-прежнему сидела за своим рабочим столом. Но я вдруг ослепла. Не видела больше его фамилии на листке, свет в комнате померк. Сколько это длилось — не знаю, должно быть, минут пять — десять, не меньше. Зрение вернулось, когда Шульц окликнул меня: «Что это с тобой нынче? Парочку списков проглядеть, а ты так копаешься!» Тогда я ему сказала: «Мой муж газирован четыре дня тому назад». Он посмотрел на меня как на слабоумную. «Ну и что такого? — говорит.— Ты тоже этим кончишь, не знала, что ли? А теперь поторапливайся!»

Они помолчали. Потом Клер повернулась к нему, негромко сказала:

— Так я научилась выдержке.

— Клер...— с глубоким чувством проговорил Андрей.— Родная моя...— Он смотрел на нее, и губы его беззвучно шевелились, рука потянулась было к ее лицу, чтобы погладить, приласкать, но так и застыла в воздухе. И вдруг его прорвало — он заговорил негромко, но горячо, порывисто:

— Для чего мне скрывать свои чувства? Ни одну женщину мне никогда так не хотелось обнять, как вас. Представить себе не можете, Клер, какая у меня к вам нежность. Мне так хочется вас утешить, помочь вам забыть пережитое.— Он с жаром взял ее руки в свои, наклонился, чтобы увидеть ее глаза в слабом свете луны.— Но быть вам только другом — этого мне мало. С той минуты, как мы встретились, я ни о чем другом думать не могу. Вы притягиваете меня как магнит. Вы запали мне в душу, никогда еще со мной не бывало такого.— Он поднес ее пальцы к губам и стал страстно целовать их.— Клер, родная, будьте моей женой.

Обещаю вам всю любовь, на какую только способен. Я знаю, нам будет хорошо вместе. Ничто так не утоляет боли сердца, как музыка. А вашему сердцу так нужно...— Он не докончил: Клер молча плакала, слезы застилали глаза и скатывались по щекам, слабо поблескивая в лунном свете. Он сжал ее лицо в ладонях.— Неужели это я заставил вас плакать? У меня от ваших слез сердце переворачивается. Неужели я так ошибся? Неужели я вам совсем безразличен? А мне казалось, что нет.

— Конечно нет! — горячо возразила она.— Вы мне очень нравитесь, Андрей. Но вы не знаете одного — ведь внутри я мертва. Я сейчас и помыслить не могу о том, чтобы выйти замуж — за вас или за кого-то другого.

— Мертвы? Это вы-то? Такие яркие глаза, такая живая речь, и вся вы... Ну зачем вы так говорите? Что за чепуха?

— Нет, Андрей, вовсе не чепуха. Я разговариваю, смеюсь, но я совершенно выжата. Не только физически, но и душевно. Мне одного хочется, как бывало, в школе, когда заболеешь,— поскорее очутиться дома и чтобы мама уложила меня в постель и поухаживала за мной.

Андрей бережно обнял ее.

— Клер, родная, положите голову мне на плечо. И прошу вас, выслушайте меня.— С коротким вздохом она припала к рукаву его жесткого грубошерстного пальто, и он стал гладить ее щеку.— Я понимаю, как вы устали. Но вы за тридевять земель от дома. Мама далеко, а Андрей рядом.— Он тихонько рассмеялся.— И Андрею так хочется о вас позаботиться, поухаживать за вами. Я думаю, мои товарищи скоро будут здесь. За какую-нибудь неделю-две вы станете совсем другой.

— Но и вы тоже станете другим,— сказала она напрямик.

— В каком смысле?

— Переменитесь ко мне.

— Нет, Клер, ни в коем случае. Нет, нет!

Она подняла голову, вскинула на него глаза.

— Андрей, я не хочу вас обидеть, но встретить такую мусульманку, как я, и на другой день захотеть на ней жениться — нет, это несерьезно. Просто вас лихорадит после Освенцима, вы изголодались по жизни. Вам нужна любовь, это так естественно, но влюблены-то вы не в меня, а в женщину вообще.

— Нет, в вас,— возразил он спокойно.— И скажу прямо: мне больно от вас такое слышать. Но еще больше я обрадован тем, что вы говорите со мной откровенно.

— Андрей, если бы я была привлекательней и вас бы ко мне тянуло физически — это было бы нормально. Будь я покрепче, меня бы тоже к вам тянуло. Но любовь должна расти постепенно.

Она не возникает вот так вдруг, во всяком случае любовь, которая чего-то стоит.

— Ах так, значит, у французов любовь подчинена определенным правилам, да? — сказал он шутливо.— А мы, русские, просто слушаемся своего сердца.

Она промолчала.

— Клер, скажите мне только одно: я вам нравлюсь?

— Да, Андрей. Очень.

— Хорошо! Тогда подумайте вот над чем: вы утверждаете, что чувство мое несерьезно — просто лихорадка, нетерпение изголодавшегося мужчины. Но почему же с первого взгляда я потянулся к вам? Ну-ка ответьте, мусульманочка вы моя! Именно к вам, а не к Лини? Ведь во внешнем ее облике женского больше, чем у вас. Почему же мне нужны как воздух именно вы, а не она?

Клер недоуменно на него посмотрела.

— Неужели такая, как я сейчас... Ну допустим, я нравлюсь вам, не о том речь... Неужели я вам действительно нужна, такая?

Поцелуй его, хоть и бережный, ее ошеломил. Когда он отнял губы, она тихонько заплакала.

— Ну теперь вы убедились, да? — прошептал он.— И убедитесь, что чувство мое не просто лихорадка. Но я понимаю, на это потребуется время. Что ж, я согласен ждать.

— О, Андрей,— с силой произнесла она.— Я так хотела бы стать вашей, совсем вашей прямо сейчас. Но не могу.

— Я тоже этого хочу,— прошептал он.— До боли.

— Но я бы осталась безучастной. Прошу вас, поймите.

— Понимаю, родная.

— Мне так хочется вновь испытать желание, страсть, но пока этого нет, стать вашей я не могу. Это было бы чудовищное насилие над собой.

— Понимаю, Клер.

— Андрей, вы мне нравитесь! Я благодарна «катюшам», что они вас разбудили.

— Вы устали?

— Да, очень.

— А теперь вы сможете уснуть?

— Да.

— Тогда пойдем.

У двери она остановилась, нашла в темноте его лицо и торопливо поцеловала.

— Спасибо, Андрей.

Глава пятая. «КАТЮША»

1

Едва забрезжило серое утро, Отто и Норберт проснулись и увидели, что снег валит вовсю. Белая завеса за окном была такой плотной, что дальше заводского двора ничего нельзя было различить. Обстрел прекратился, и слышен был лишь посвист ветра.

— Эй, что я тебе скажу, а? — зашептал Отто.— Мы на свободе!

Норберт кивнул, заулыбался.

Один за другим проснулись и остальные, спала только Клер. Беглецы размахивали руками, чтобы согреться, терли озябшие ладони и бурно радовались, что им выпала такая удача — очутиться здесь, в этом благословенном убежище!

Лини, проснувшись, села и отыскала глазами Норберта — взгляд его, мягкий, ласкающий, был уже устремлен на нее. Сердце ее запело, она мысленно обратилась к нему с нетерпеливой нежностью: «Увалень ты этакий! Еще одну ночь пропустишь, придется мне сделать первый шаг самой, ничего не попишешь. Но лучше бы ты не толкал меня на это. Ведь моя женская гордость будет страдать».

Юрек потрогал щеки, взглянул на Отто:

— Сегодня можно будет побриться. То для меня необходимо. — Он улыбнулся.— Зося сердится: борода колючая.

— Везет тебе, черту,— с откровенной завистью буркнул Отто. Потом очень тихо, с каким-то лихорадочным возбуждением: — Ну и как она?

— Ничего, спасибо, здорова,— последовал вежливый ответ.

— Я не о том.

Юрек усмехнулся.

— Красивая?

— Она не есть красивая, она симпатичная.

— Тут много?

— Средне.

— Худая, толстая?

— Средняя.

— Ну а как это было? Расскажи человеку, а?

— То будет не по-джентльменски. Так делать неправильно, как сказал бы Андрей.

— Вот еще мура!

Юрек рассмеялся.

За завтраком, рассказывая о ночном обстреле, Андрей и словом не обмолвился о том, что Клер была с ним. Он знал, что

творится с Отто, и ему не хотелось косых взглядов и назойливых расспросов.

— Говоришь, орудия всего в пятнадцати километрах? — встрепенулся Норберт.— Значит, немцы еще ближе к нам, а?

— Не обязательно,— возразил Андрей.— Может, враг здесь, наши танки прорывались вот сюда...— Он усиленно жестикулировал, желая показать, как быстро меняется линия фронта.— Может, сейчас мои товарищи к нам ближе, чем немцы, а завтра все наоборот.

Юрек шутливо перекрестился:

— Прошу отца небесного: не надо наоборот. Пусть отец небесный поскорей приведет сюда русских.

С улыбкой, словно бы невзначай, Отто высказал наконец то, что вертелось у него на языке еще со вчерашнего вечера:

— Юрек, а знаешь, что я подумал, когда ты задержался у Кароля?.. Я подумал, что ты дал деру.

Юрек ухмыльнулся, выставил перед собой ладони:

— Виноват, виноват.

— А в конце-то концов, какие к тебе могут быть претензии? — беззаботно и словно бы незлобиво продолжал Отто. На Норберта он не глядел, но чувствовал, что тот с него глаз не сводит.— Ведь ты поляк. Тебе всего-то и нужно — найти семью, которая захотела б тебя приютить. Тогда уж тебе ничего не грозило бы. Так для тебя было бы куда безопаснее, чем с нами.— Он улыбнулся.

Секунду Юрек смотрел на него молча.

— Сколько я разумею, ты задаешь мне серьезный вопрос, н-е-ет? Отто пожал плечами.

— Да я это просто так, к слову.

— Нет, не просто так! — В голосе Юрека смешались гнев, насмешка, обида.— Ты хочешь выведать — не собираюсь ли я удрать, дезертировать, не-ет?

— Я этого не говорил, старина.

— Но думал. Так я тебе вот что скажу. Мне было только девять лет, а тот человек,— и Юрек показал на Норберта,— уже был в концентрационном лагере. А когда мне было четырнадцать, туда попал ты. Как же ты думаешь, я дезертирую, брошу двух товарищей, если они боролись против нацистов? Боролись, когда я еще даже не знал, кто это есть — нацисты? Или брошу вот этих двух женщин и русского солдата? Нет! Я есть польский патриот! Я не есть трус, не есть дезертир.

Отто немного смутился:

— Прости. Я не хотел тебя обидеть. И все-таки как-то спокойней знать наверняка, что мы можем на тебя положиться.

Наступило короткое молчание. Вдруг Юрек расхохотался:
— Значит, ты это просто так, к слову, да-а-а?

2

Сон был всегда один и тот же. Снился он ей не каждую ночь, но уж если снился, образы его оставались неизменными: маленький мальчик катит по земле красный мяч и бежит за ним вприпрыжку, безликий робот в серо-зеленой форме подстерегает мальчика, а она, Клер, где-то сбоку — закованная в цепи, во рту кляп» Сон неизменно обрывался на том, что робот, вытянув металлические руки, устремлялся к мальчику. Просыпалась она с криком боли — вот как сейчас, истерзанная, вся в поту, и стонала, не в силах подняться.

Андрей тут же бросился к ней, опередив Лини.

— Клер, что с вами? — встревоженно крикнул он по-русски и опустился рядом с ней на колени.— Вам больно? Где? — Она не ответила, но стоны стихли. Глаза ее были закрыты, она тяжело дышала.— Клер, чем я могу вам помочь? — умоляюще проговорил он и стал гладить ей руку.

Подошла Лини, прошептала:

— Не пугайтесь, она не заболела, это у нее сон такой. После него она всякий раз совершенно обессилена, иногда по утрам мне еле удавалось поднять ее на работу.

Не открывая глаз, Клер чуть слышно проговорила:

— Я не сплю» Пожалуйста, не надо об этом.

— Я и не собиралась. Хочешь еще немножко полежать?

Клер тяжело вздохнула в ответ.

Лини поманила Андрея.

— Она скоро придет в себя.

— Вы знать, про что этот сон?

— О том, что ей пришлось увидеть несколько месяцев назад.

— А про что, пожалуйста?

Лини пожала плечами:

— Сами можете себе представить.

— Нет, вы, пожалуйста, говорите мне, про что он. Так делать правильно.

Она бросила на него лукавый взгляд:

— Это почему же?

После некоторой заминки он сказал с откровенной улыбкой:

— Клер для меня теперь очень главный человек.

— Тогда я вам вот что скажу. Я Клер знаю. Когда вы тоже станете для нее главным человеком, она вам сама все расскажет. Ей не хочется, чтобы об этом болтала я.— Потом Лини показала на дощечку.— Сыграли бы вы ей что-нибудь на этой своей виолончели, а?

— Да, хорошо! — ответил он с готовностью, но лицо у него было хмурое: Лини явно его не убедила.

Лини поглядела на него, усмехнулась:

— Вот вам мой совет на все случаи жизни: действуйте не спеша. Вошел Отто и с порога объявил:

— Эй. Лини, мы прогулялись по всему заводу и знаешь, что обнаружили? Ты не поверишь. Он совершенно пустой. Ха-ха.— И Отто протянул ей руки.— Давай потанцуем!

— Мне надо миски перемыть.

— Успеется.— Он схватил ее за руку.— Ну пойдем, прошу тебя.

— Ей-богу, что-то не хочется.

Серо-зеленые глазки Отто вспыхнули.

— А если б тебя Норберт пригласил, небось захотелось бы!

— Да, вероятно,— с нажимом сказала Лини.— Вот так. Отто.

Он вспыхнул, на лице у него было такое отчаяние, что Лини почувствовала угрызения совести.

— Не сердись,— сказала она поспешно.— Ну давай потанцуем. Но он отвернулся и, ссутулившись, отошел.

3

Едва Клер приподнялась, Отто очутился с нею рядом: бойко пожелал ей доброго утра, спросил, как она себя чувствует, сунул ей в руку кусочек сахара.

— Спасибо, Отто,— пробормотала она, вставая, и весь вид ее выражал недоумение.

— Эй, лентяйка,— крикнула ей Лини,— завтракать будешь?

— Пока нет.— Она поздоровалась с Юреком и Норбертом, затем повернулась к Андрею. Взгляд ее был нежен, он говорил ему, что ощущение душевной близости, возникшей между ними этой ночью, не покидает ее.— Спасибо за музыку, она мне помогла. Теперь я уже пришла в себя.

Он кивнул, улыбнулся, но брови его были угрюмо сведены, пальцы уже не бегали по дощечке. Было ясно, что фокусы Отто его раздражают.

— Лини, которое из ведер — дамская умывальня? — спросила Клер.

Лини показала. Клер направилась к ведру, опустилась возле него на колени. Отто не отходил от нее ни на шаг. Для начала сообщил ей, что сегодня сильный снегопад, затем рассказал, что в детстве обожал снег, осведомился, много ли снега выпадает в Париже, ходит ли она на лыжах, бывала ли в Вене. Она отвечала коротко, но за каждым ответом следовал новый вопрос. 1Слер умылась, утерлась рубашкой; теперь лицо у нее было еще более удивленное. Лишь когда она извинилась, сказав, что ей нужно кое-куда выйти, град вопросов прекратился. Но Отто стал в дверях и не спускал с нее глаз.

Все переглядывались, потешаясь над этим неуклюжим ухаживанием. Норберт спокойно сказал:

— Эй, Отто, закрой-ка дверь. Сквозит.

Отто вздрогнул, резко обернулся, метнул на Норберта недовольный взгляд, но тот глядел на него с таким добродушием, что Отто успокоился. Он закрыл дверь и как ни в чем не бывало подошел к остальным.

— Ну. Лини, доскажите про вашего сынка,— попросил Норберт.— Что же было дальше?

Лини рассмеялась:

— В этом возрасте ребятишки не очень-то обращают внимание на сверстников. Но Йози и какой-то мальчуган глаз друг от друга отвести не могли. И все кружили по песку один вокруг другого — совсем как двое щенят, обнюхивающих друг дружку...— Тут она смолкла, затаила дыхание: снова ударили

тяжелые орудия — где-то далеко в небе загромыхало, мощные залпы следовали один за другим.

— Ого! — воскликнул Андрей, прислушавшись.— Сейчас орудия подходили близко, ближе, чем ночью.

— За сколько они километров отсюда? — У Юрека радостно засверкали глаза.

— Может, за двенадцать, может, немного больше.

— Немецкие или русские? — нетерпеливо спросил Норберт.

— Пока трудно говорить. Может, тот и другой.

— А как же ты ночью отличил, что орудия русские?

— Потому что ночью я слышал «катюша». А сейчас нет.

— А ну тише...

Когда Клер вошла в комнату, Лини предостерегающе прижала палец к губам, потом знаками предложила ей поесть. Клер кивнула.

— Ты говоришь — звуки пронзительные, частые? — спросил Норберт.

Андрей кивнул:

— Очень быстрый. Вот так.— И он несколько раз отрывисто свистнул.

Лини принесла миску с едой, села рядом с Клер и шепнула ей:

— Они слушают, не стреляют ли «катюши». Это такие...

— Знаю. Слушала ночью вместе с Андреем,— так же шепотом ответила Клер и, встретив ошарашенный взгляд Лини, широко улыбнулась.

— Ты вставала ночью, вы были вместе?

Клер кивнула.

— Что-нибудь произошло?

— Не то, что ты имеешь в виду.

— Ну как, я права или нет?

— Ты о чем?

— Его к тебе тянет?

Клер кивнула.

— Ха, ну что я тебе говорила! *И как* же он себя повел, когда ты сказала «нет»?

— А так, что стал мне очень дорог и близок. Впрочем, тут все гораздо глубже, дело не только в этом.

— А в чем же?

— Потом скажу. Как мне быть с Отто? Он сегодня какой-то шальной— прямо как кот, хвативший валерьянки.

— Ну у тебя, француженка, опыт немалый — знаешь, как себя держать.

— Только не с изголодавшимися мужчинами на кирпичных

заводах.

Лини ухмыльнулась:

— Он потому так сердито сопит, что я напрямик ему сказала: Норберт мне больше по душе.

— Ах вон оно что, очень мило! Вот спасибо. Я тебе тоже как-нибудь подложу свинью.

— Он до того меня разозлил, что я не удержалась, с языка сорвалось. Рано или поздно ему все равно пришлось бы узнать.

— По мне, лучше бы поздно.

Лини опять ухмыльнулась.

— А по мне, наоборот. Ты-то сумеешь его осадить. Ну как, помассировать тебя?

— Потом.

— Кто-нибудь слышал «катюша»?— спросил Андрей.

Все покачали головами.

— В конце концов, что за разница, чьи эти орудия? — рассудил Норберт вслух.— Ясно одно: сейчас русские ближе, чем были позавчера. Остальное неважно.

— Юрек! —вдруг воскликнула Клер.— Зеркало!

В комнате сразу же воцарилась напряженная тишина. Медленно, театральным жестом Юрек извлек из кармана прямоугольное зеркальце и, чуть улыбаясь, оглядел остальных.

— С кого начнем?

Лини показала на Клер:

— Она вспомнила первая.

Когда Юрек направился к Клер, на нее вдруг напал нервный смешок. Неожиданная эта реакция удивила ее еще больше, чем остальных, потому что была совершенно непроизвольна. Она даже не протянула руки за зеркальцем, сидела, уставясь в одну точку, и хихикала.

— Эй, что это на тебя нашло? — удивилась Лини. Ее тоже стал разбирать смех.

— Сама не знаю...

Клер затряслась всем телом. Выглядело это до того нелепо, что остальные так и покатились со смеху. Чем судорожней смеялась Клер, тем громче заливались остальные, комната сотрясалась от утробного смеха — и вдруг он стих: хихиканье прекратилось так же внезапно, как началось. Клер сидела неподвижная, безмолвная, по впалым щекам катились слезы.

— Ой, ну что за дурочка!—Лини порывисто обняла ее одной рукой.— Чего ты так боишься посмотреться в зеркало?

— Я увижу там мусульманку,—еле слышно выговорила Клер. —• Не хочу!

— Скажите какое тщеславие!

Андрей заговорил по-русски — горячо, нежно:

— Вы увидите там женщину, которая в моих глазах — красавица.

Губы Клер чуть дрогнули в благодарной улыбке, но она покачала головой.

— О господи, что за чувствительность!—воскликнула Лини.— Юрек, давай его сюда.— Улыбаясь, она поднесла зеркальце к глазам, и у нее перехватило дыхание, на лбу пролегли глубокие складки. После короткого молчания она пробормотала:—Да-а, красавицей я никогда не была, но все-таки...— И, возвращая зеркальце Юреку, с грустью добавила:—Может, Клер и права. Лучше сначала поправиться хоть немного.

Юрек, успевший тем временем разглядеть себя, сообщил куда более веселым тоном:

— А я не особенно переменился. Я был в лагере не так долго, и мне кое-что удавалось «организовывать».— Он вертел зеркальце, стараясь получше рассмотреть чуть отросшие волосы. — Седины нет, значит, еще могу быть школьником, та-а-к?—-Он рассмеялся, протянул зеркальце Андрею: — Поглядишь на себя или тоже боишься?

— Я не боишься,— ответил Андрей, но, когда он увидел свое отражение, улыбка его превратилась в гримасу боли. Он затряс головой, что-то пробормотал по-русски, потом, ни на кого не глядя, сердито протянул руку с зеркалом.

Отто занервничал:

— Ну что, родная мать не узнала бы, а? Эй, Норберт, ты или я?

— Давай сперва ты,— ответил Норберт с коротким принужденным смешком.— Меня что-то не очень тянет.

Отто, явно сделав над собой усилие, взял зеркало.

— Представить себе не можете, ха-ха, какой я был прелестный малыш.— И, рассмеявшись вместе с другими, добавил:—Хорошо еще, что я сейчас как следует подзаправился. После семи лет для такого зрелища надо набраться сил.— И он быстрым движением поднес зеркальце к глазам. Лицо его выразило крайнее недоумение. Он все смотрел и смотрел на себя, затем повернулся к Норберту, словно бы ожидая, что тот объяснит ему необъяснимое, и снова уставился в зеркало. У него вырвался полузадушенный крик:—Но ведь мне только двадцать четыре!—И он завыл, запричитал, будто у открытой могилы.— Нет, не могу поверить. Не узнаю себя. В последний раз я видел в зеркале мальчика, а это тридцатипятилетний мужчина. Неужели я выгляжу на тридцать пять? — И, повернувшись к остальным, крикнул совсем по-детски:—Ужас какой! Вот ужас, а?

В его словах каждый почувствовал отзвук своего собственного заветного желания — бесплодной надежды обратить время вспять, чтобы погибшие были живы, чтобы страшные злодеяния, свидетелями и жертвами которых они стали, не были совершены.

— Ах, Отто! — воскликнула Клер с острой жалостью.— Все мы выглядим старше своего возраста. Но дайте срок — отдохнете, поправитесь, волосы отрастут, и вы будете выглядеть ненамного старше своих двадцати четырех.

— Нет, я и выглядеть буду старше, и в самом деле буду старше! — в отчаянии выкрикнул он.— У меня украли юность, лучшие годы жизни, их уже не вернуть, они пропали!

И Отто молча сунул зеркало Норберту и сел, закрыв лицо руками,— жалкая, скрюченная фигурка.

Норберт постоял' молча глядя на него. Потом повернулся к Лини:

— Ответьте мне совершенно прямо: на сколько я выгляжу, а? Голос ее прозвучал очень мягко, даже как-то виновато:

— Примерно на сорок пять, Норберт.

Он кивнул.

— Что ж, ничего удивительного. А вообще не так уж это страшно.

— А сколько вам на самом деле?

— Тридцать семь.— Он поднял зеркало. Прошла долгая секунда.— Нет, не так уж страшно,— повторил он.— Передо мной человек, которому удалось выжить там, где гибли многие. Да притом еще люди получше его. Он мог давно превратиться в пепел — а вот ведь жив. Его могли кастрировать, он мог стать калекой от побоев, но ему везло, поверить трудно, как ему фантастически везло. Теперь он снова может попасть домой, вольно дышать, радоваться жизни, работать, иметь семью...

Отто вскинул на него глаза.

— Спасибо за нравоучение,— сказал он сердито и горько.— Все сразу же стало на свои места, просто замечательно...

— А тебя и надо поучать, болван несчастный,— обрушился на него Норберт.— Все мы потеряли лучшие годы и еще много чего. Но оплакивать их? Нет уж, к черту! — Он перевел взгляд на Лини, и в голосе его зазвенела радость:— Во тьме ночи мы повторяли: «История похоронит фашистов». И вот оно, свершается у нас на глазах, мы дожили до этой минуты. Так о чем же плакать? Не о чем, черт побери. В этом зеркале я вижу счастливого человека — вот так!

— Ш-ш! — сказал Андрей.— «Катюша»!

Сквозь гул тяжелых орудий все услышали далеко в небе отрывистый зловещий вой — это один за другим на огромной

скорости неслись реактивные снаряды.

— Вот! — радостно воскликнул Андрей.— Так поют «катюша».

С едва заметной дрожью в голосе Клер сказала:

— А я бы их назвала по-другому: «банши».

— Как-как? — удивилась Лини.— Это что такое?

— А это из ирландского фольклора, женские духи, они воют по ночам, предрекают человеку смерть.

— Ей-богу,— воскликнула Лини,— каким только вздором у тебя голова набита! Ну как, француженочка, сделаем массаж, а?

— Только, пожалуйста, шведский, а не голландский.

Норберт подошел к окну, спросил Андрея:

— А у немцев разве нет реактивных орудий?

— Есть, но они пускают только один снаряд, звук другой. А «катюша» быстро так: фт-фт-фт... Одна «катюша» пускает шестнадцать снаряды подряд.

— Снег перестает,— объявил Норберт и вдруг ахнул:— Боже мой!

Встревоженный возглас Лини:

— Что такое?

Норберт не ответил. Молча, словно в забытьи, глядел он перед собой. Остальные бросились к окну.

Падали редкие белые хлопья. Ровное неисхоженное поле за заводским двором выглядело совершенно так же, как накануне, разве что снегу нападало еще больше. Но в полукилометре от них, по дороге, рассекавшей поле надвое, потоком шли заснеженные танки и грузовики, шагали солдаты. Медленно двигалась эта белая река, машины приноравливались к шагу идущих. Пехота шла тесными рядами, неуклюжие маскхалаты покрылись от мороза ледяной коркой. «Немцы или русские?»— мелькнул у каждого в голове один и тот же вопрос. *И* почти тотчас же Андрей выкрикнул:

— Фрицы!

— Немцы,— объяснила Клер.

Остальные заговорили разом:

— А почем ты знаешь? Ты уверен?

Андрей стал взволнованно перечислять:

— Немецкий танк — «тигр»... Немецкий гаубица... Немецкий зенитка.

— Я не вижу опознавательных знаков! — воскликнул Отто.'— 1 А ты? Где они?

Андрей быстро заговорил по-русски:

— Клер, объясните им, я отличаю немецкие орудия и танки по виду, ошибки быть не может!

Как только Клер перевела его слова, все смолкли. В немом изумлении, словно зачарованные, смотрели беглецы на дорогу, и обжигающая радость билась в них. Зрелище было воистину потрясающее. Пусть в Освенциме такой человек, как Норберт, по ночам утешал себя мыслью, что история похоронит фашизм. Но ведь каждое утро, просыпаясь, они по-прежнему оказывались в безумном мире, где правила звериная жестокость. Ни один из них, в сущности, не надеялся выйти из того страшного мира живым. А сейчас они на воле, в укрытии, и у них на глазах полчища их мучителей панически бегут. Зрелище это тешило глаз, заставляло бешено колотиться сердце. Они все смотрели и смотрели, желая удостовериться, что это не мираж. И странно, до чего странно — с дороги не доносилось ни единого звука, все заглушал немолчный гул далекой канонады. Белая река, несшая свои воды медленно и бесшумно, выглядела нереальной — казалось, что смотришь немой фильм.

Клер первая нарушила затянувшееся молчание.

— Ах,— сказала она сдавленным, глухим от волнения голосом, — теперь и умереть не жаль. На наших глазах свершается возмездие.

У Юрека в горле зазвенел смех. Он рвался из него родниковой струйкой — веселой, сверкающей на солнце. Юрек не говорил ни слова, только смеялся, смеялся, пока наконец не утих.

И снова наступило молчание. Потом все вдруг заговорили разом, словно взбудораженные дети, давая выход переполняющим их чувствам:

Отто:—Эти сверхчеловеки еле тащатся — устали, видно. Я за них так...

Лини:— Устали!

Отто: — ...переживаю!

Лини:—Да где им знать, собакам, что такое усталость! Вот мы действительно знаем!

Андрей (неистово):—Самолеты! Где наши самолеты? Почему они ждать?

Норберт (горько, печально):—Неужели это единственный способ заставить немцев понять хоть что-нибудь? Сколько же войн должны они проиграть, чтобы отказаться наконец от попыток завоевать мир?

Клер (посмеиваясь):—Отто, у вас сахара не осталось? Ах, как бы он им сейчас пригодился!

Взрыв хохота — резкого, злого, торжествующего!

Юрек:—Виват «катюше»! Я на ней женюсь. Она мне есть милее Зоей.

Блаженный, бессмысленный смех! Язвительное фырканье!

Забавные выдумки и фантазии, одна причудливей другой! Но вот поток машин и людей иссяк, и все понемногу стали успокаиваться. Вдруг Андрей нахмурился, отошел от окна, взволнованно зашагал взад-вперед. Остальные не отрывали глаз от последней колонны немцев и даже не заметили, что он отошел.

—: Снегопад опять усиливается,— заметил Отто.

— Вот и хорошо, пусть они замерзнут насмерть, эти чудовища!

— Нет, Лини! — поспешно возразил Норберт.— Эти солдаты — ведь они не эсэсовцы. Разгромить вермахт необходимо, это верно, но не надо валить солдат в одну кучу с эсэсовцами.

Лини резко ответила:

— Конвоиры, которые гнали наш этап, тоже не были эсэсовцами. А пожалели они хоть одну из тех женщин, что падали в снег?

— И что же, по-вашему, из этого можно заключить? — настойчиво допытывался Норберт.— Что весь народ состоит из чудовищ,— и на этом успокоиться?

— Сами знаете, я не о таких немцах, как вы.

— А о каких же, Лини? О двадцатилетних парнях, которым было восемь, когда Гитлер пришел к власти? Что же нам с ними делать: перевешать или перевоспитать? А рабочие, строившие эти танки и грузовики,— с ними как прикажете быть?

— Не знаю,— пробормотала Лини.— Вы это все давно обдумали, а я нет. Но в сердце моем...

Подошел Андрей — так же внезапно, как раньше отошел.

— Товарищи,— сурово начал он.—Я думаю — мы сойти с ума! Целый час смотрим, смеемся, но почему мы ни разу не думаем, что будет, если фрицы сюда приходят?— Он сердито показал на дорогу.— Враги от нас только полкилометра. Они приходят сюда, всех стреляют.

— А для чего им сюда приходить? — весело бросил Отто.— Высшая раса драпает. У них теперь одно на уме — поскорей смыться от вас, русских.

Андрей выслушал его, приставив к правому уху ладонь, потом возразил сердито, даже яростно:

— Много для чего. Может, ставить зенитка на крыша, может, приносить раненых, откуда я знаю?

— Так чего они до сих пор не пришли?—не унимался Отто.— Ведь они уже, наверное, столько часов драпают — задолго до того, как мы их увидели.

— Юрек,— спохватился Норберт,— выяснил ты, куда ведет дорога?

— Да, да, в Богумин.— То есть городок на польско-

германской границе. Двадцать километров отсюда.

— Ага, вот видите? — торжествующе объявил Отто.— Туда они и топают — обратно в добрый старый фатерланд.

Андрей даже закричал от возмущения. Сильно волнуясь, обратился к Клер:

— Переведите им! Мы ведем себя неразумно. Мне начинает казаться, что в Освенциме мы стали просто ненормальные. Мы так измучены, так жаждем покоя и безопасности, что вообразили, будто этот завод — заколдованное царство. Враг чуть ли не у самых дверей, а мы стоим себе посмеиваемся, словно застрахованы от всех бед. Форменное безумие!

Клер помолчала. Слова Андрея потрясли ее. Ей вдруг стало жутко. Может, они и впрямь ненормальные? О господи! Но ведь она и сама наблюдала за отступлением немцев и ни разу не подумала об опасности. Не на шутку встревожившись, она стала медленно переводить. Едва она кончила, Андрей гневно направил палец на Норберта.

— Вот ты,— заговорил он резко,— двенадцать лет ты был в концентрационный лагерь, и когда ты видел немец с автомат, ты боялся, да? Почему же ты не боялся немец там, на дороге?

Норберт, наморщив лоб, сосредоточенно думал. Потом развел руками.

— Сам не знаю,— пробормотал он и смущенно поглядел на остальных.— Нам надо быть начеку, это факт.

— Андрей прав! — решительно подхватила Лини.— Конечно, они могут сюда нагрянуть! Что это мы, в самом деле?

— А ничего! — закричал Отто. Белый от злости, подскочил он к Андрею.— Может быть, ты и спятил, тебе виднее. Только нас в компанию не бери. Мы увидели, что вермахт драпает, и обалдели от радости. Что ж тут такого? Ведь это вполне естественно! Что ты тут, черт побери, увидел ненормального? Да мы этого дня ждали годы и годы, скажешь — нет?

— Значит, ты считаешь, здесь для нас очень безопасно, да? — насмешливо спросил Андрей.— Гитлер присылал к тебе письмо, обещал?...

— Мы нигде не можем быть в безопасности, пока не придут русские,— желчно перебил его Отто.— Но ты можешь нам предложить более надежное убежище? В деревне немцев не было с осени. А ты сам сейчас видел — мимо шли целые полки, верно? Черт подери, это у тебя мозги воспалились, а не у нас!

К ним подошел Норберт, сказал спокойно и твердо:

— Давайте-ка присядем и потолкуем! — То была не просьба, а приказ, в нем была сила — та самая, что помогла Норберту выдержать двенадцать лет лагеря,— и оба спорщика тотчас же

подчинились. Бросив взгляд в окно, на опустевшую дорогу, Норберт сказал:—Юрек, покарауль, а?— Потом сел, привалился спиной к стене, поскреб подбородок и мгновенье пристально смотрел на Андрея и Отто. Вспомнив, каким Норберт был утром, когда они только проснулись, Лини поразилась: теперь это был совсем другой человек. Взгляд голубых глаз стал холодный, жесткий; сильное лицо отвердело, казалось железным— оно подбадривало, но вместе с тем как-то отпугивало. Такое вот железное лицо может поддержать в тебе дух, решила она, но целовать его не захочешь.— Все за одного, один за всех — так, да? — негромко проговорил Норберт.— Может, будем помнить об этом, а не кидаться друг на друга, как петухи? — И опять слова его прозвучали как приказ, а не как просьба.— Отто, по-моему, все, что ты говорил, толково. Но ты одного не учел — как раз того, что беспокоит Андрея. Не знаю, как ты, но я, безусловно, дал маху. Вот мы тут все время глядим на дорогу, а мне ни разу даже в голову не пришло, что один из танков может вдруг свернуть сюда, к заводу. Нету ведь такой международной конвенции, которая бы это запрещала, а, Отто?

Отто развел руками: нету, мол.

— Кто-нибудь из вас предвидел такую опасность? — спросил Норберт. Он подождал ответа, но все молчали, и он снова заговорил:— Конечно, это вовсе не значит, что все мы рехнулись; тут ты, положим, хватил, Андрей. Отто верно говорил: мы все обалдели от радости. А ведь в самом деле здорово, а? Но в одном ты прав. Что-то больно мы размагнитились. После Освенцима мы здесь словно на перине нежимся. А спать-то нам как раз и нельзя. Значит, надо решить: что будем делать, если на дороге с нова появятся войска? — Он обежал всех взглядом.— Есть у кого-нибудь соображения на этот счет?

— Да-да! — поспешно сказал Андрей.— Есть.

Отняв ладонь от уха, он повернулся к Клер, решительно, горячо заговорил по-русски. У него три предложения, и он на них настаивает, потому что твердо уверен: сейчас им грозит чрезвычайная опасность. Завод почти у самой дороги и сразу бросается в глаза. До сих пор это было отличное убежище, но в любую минуту оно может превратиться в ловушку, и тогда им отсюда живыми не выйти. Поэтому первое его предложение такое: пусть Кароль постарается найти в деревне несколько семей, которые согласились бы их спрятать. Юрек должен идти к Каролю сейчас же, не дожидаясь темноты. Лучше всего, если таких семей будет шесть — на каждую семью по человеку, но если найдется хотя бы один дом, где согласятся принять, скажем, Клер и Лини, это все-таки лучше, чем ничего. Как бы там ни было, едва

стемнеет, завод должны покинуть все.

— Ну так,— сказал он напористо,— переведите пока вот это.

С тем, что Каролю надо подыскать семьи, где их примут, все сразу же согласились. Но когда стали решать, нужно ли Юреку идти к нему немедленно, не дожидаясь темноты, разгорелся ожесточенный спор. Лини и, к общему удивлению, Отто поддержали Андрея. Но Юрек был решительно против: ведь надо думать не только о своей безопасности, но и о безопасности человека, который им так помогает. Какой-то чужак средь бела дня идет от завода к деревне, а это метров полтораста, и входит в дом Кароля — его же вполне могут заметить, притом многие. *И кто* знает, к чему это приведет! Мало того, если Кароль увидит, что они не держат слово, что на них нельзя положиться, он, может, испугается и вообще перестанет им помогать. Норберт энергично поддержал Юрека: все верно, да и немцев сейчас на дороге не видно, так что нечего устраивать панику. А часов через пять- шесть уже стемнеет.

Проголосовали: Лини воздержалась, Отто перешел на сторону Юрека и Норберта, и только Андрей упорно стоял на своем. Лицо у него было такое, что Клер мысленно улыбнулась. «Да ты, оказывается, упрямец!» — подумала она.

Другие предложения Андрея повергли Клер в уныние. Если на дороге снова появятся немцы, все должны выпрыгнуть из окна на заводской двор, бежать в лес и отсиживаться там, покуда дорога не очистится. И вообще, пока для них не подыщут убежища в деревне, надо каждую ночь уходить в лес. Потому что здесь их могут застигнуть врасплох во время сна.

Когда Клер кончила переводить, наступило продолжительное молчание. Всех охватил ужас — в том, что предлагал Андрей, была своя логика, достаточно убедительная. Наконец Лини рассмеялась коротким невеселым смехом:

— Ох, Андрей, лекарство-то страшнее самой болезни. По мне, уж лучше получить пулю здесь, в тепле, чем насмерть замерзнуть в лесу.

Но у Андрея и на это был готов ответ: снег шел двое суток, и сейчас он гораздо глубже, чем позавчера. Он научит их закапываться в снег, и тогда ветер им не страшен. Холодно, безусловно, будет, но замерзнуть они не замерзнут.

— Ты нам это гарантируешь? — с явным недоверием спросил Норберт.— У тебя что, большая практика?

— Советский солдаты делают вот так засада,— ответил Андрей.

— А одеты они при этом так же, как мы?

— Нет, более тепло,— признал Андрей.— Но и для нас так

делать правильно.

— Вот и попробуй нынче ночью,— рассмеялся Отто.— Посмотрим, на что ты будешь похож к утру, если только вообще вернешься.

— А ноги Клер? — спросила Лини.— С ними что станет после ночевки в лесу?

Андрей вздрогнул, бросил на Клер виноватый взгляд.

— Ох,— сказал он убитым голосом,— про ноги я как-то забывал.— Потом по-русски:—Ну как они сегодня?

— Чуть согрелись, но боль все такая же.

— Да, какое-то время они еще поболят.— Он смотрел на нее, наморщив лоб.— Дорогая моя, это такая проблема, не знаю, что и придумать. Нам вовсе не хочется, чтобы вы опять обморозились... — И, взволнованно махнув рукою, он смолк.

Клер сказала очень спокойным голосом:

— Несколько часов в лесу я еще выдержу, а вот целую ночь—; едва ли. Стало быть, выход у меня один — рисковать. Я остаюсь здесь, но это вовсе не значит, что вы все тоже должны....

— Нет! —прервал ее Андрей.— Я останусь с вами.

— Что за нелепость! Почему вы должны...

— Нет,— повторил он.— Я вас не оставлю, Клер.

На глаза ей набежали слезы, и она отвернулась, чтобы их скрыть.

— Но это же неразумно, Андрей.

— Я вас не оставлю,— сказал он тихо.— Не оставлю, и кончено.

— Эй, слушайте меня все,— заговорил Юрек.— А почему вам не сделать, как предложил вчера Андрей? То есть хорошая мысль — караулить круглые сутки! Сколько до той дороги? Верно, метров пятьсот? А до леса только семьдесят. Допустим, с дороги немцы свернут сюда, та-а-к? Даже если они на машине или на танке — все равно, пока доедут, пока все тут осмотрят, мы успеем утекать до леса и хорошенько спрятаться.

Норберт хлопнул себя по коленке.

— Толково. Значит, мерзнуть будем только в случае необходим мости.

— Ой, правда здорово! — обрадовалась Лини.— Ну а вы, Андрей, как, не возражаете?

— Нет,— ответил он с явным облегчением.— Может, Юрек предлагал самый лучший план.

— Вы и правда так думаете? — спросила Клер по-русски.— Или согласились только ради меня?

Андрей улыбнулся.

— Одному богу известно. Но решение неплохое.

Отто вдруг развеселился:

— Друзья, с той минуты, как мы* очутились в сарае, нам все время везло, верно? Так вот, предлагаю пари. Ставлю три против одного, что в лес нам ни разу удирать не придется — русские придут раньше. Три против одного! Ну кто принимает пари?

— А вы на какие деньги спорите? — усмехнулась Клер.— Марка после войны обесценится.

— Кто же на марки спорит, спятил я, что ли? На венский шницель, вот на что. Расплачиваться в Вене. Есть там один ресторан, я хорошо его знаю. Значит, три против одного. Ну как, Клер, идете со мной на пари?

Она покачала головой:

— Никогда не любила шницель.

— Что? — с наигранным удивлением воскликнул Отто.— Эх, француженочка, вынь я сейчас из кармана холодный шницель трехдневной давности — ха-ха,— да еще облепленный тараканами, вы что, не стали бы его есть?

— Съела бы вместе с вашей рукой,— ответила Клер.

А в следующий миг, изумленно глядя на остальных, она спрашивала себя, чем вызван такой громовой хохот. Ведь шутка была до того незатейливая. Но все надрывались со смеху, словно на представлении в мюзик-холле, и она смеялась вместе со всеми. «Просто мы остались живы,— подумалось ей,— и в этом все дело. Мы живы, мы на свободе, мы на пути к дому».

Глава шестая. ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ

1

Канонада прекратилась, немцы на дороге больше не появлялись, и даже ветер улегся. Казалось, после утреннего неистовства и природа и люди выдохлись и теперь нуждаются в передышке. Вскоре после полудня, когда беглецы ели холодный обед, графитно-серые облака вдруг раздвинулись, словно театральный занавес, и показалось яркое солнце в озерце чистой глубокой синевы. Прикрывающий землю плотный наст засверкал, словно усыпанный мельчайшими осколками стекла. Юрек, следивший из окна за дорогой, подозвал остальных. Все стояли рядом и смотрели не отрываясь, как зачарованные. Зима... Не та закопченная, грязная, что причиняла им столько страданий в Освенциме, а прекрасная, чистая, какой она им помнилась с детства. С острой тоской вспоминали они вслух зимние радости — снежные крепости и снежных баб, катанье на санках и рождественское веселье. В эту минуту никому не приходили на память тяжелые дни, без которых не обходится ни одна зима,— огорчения, слезы, трудные открытия ранних лет. Немножко солнца над замерзшей равниной—и в памяти каждого возникла волшебная страна детства.

Не прошло и десяти минут, как серый занавес вновь задернулся — так же внезапно, как открылся. Огорченно вздыхая, но все еще улыбаясь, они вернулись на свои места. Отто решил извлечь из этого маленького события выгоду: шепнул Клер, что глаза у нее синие, словно небо. Она сдержанно поблагодарила, удивляясь про себя его робости: ни дать ни взять шестнадцатилетний юнец, что, запинаясь от смущения, впервые в жизни делает комплимент девушке. Впрочем, так ведь оно и есть: ему двадцать четыре, но в то же время ему и шестнадцать, а выглядит он на тридцать пять — нет, такое может доконать кого угодно.

Ее размышления прервал Андрей.

— А знаете,— с глубокой нежностью сказал он по-русски,— глаза у вас точно такого же цвета, как ясное небо,— синие-синие.

Клер едва удержалась от смеха. Сказал он это вполне серьезно, и она была так к нему расположена, что ей вовсе не хотелось причинять ему боль, но два столь похожих комплимента! Словно намеренно одинаковые реплики в пьесе, рассчитанные на комический эффект. И она была благодарна Лини, которая принялась описывать зимнюю ночь в Амстердаме, — теперь можно было и отвернуться.

— Представить себе не можете, что это за красота,— с

гордостью рассказывала Лини.— Каналы покрыты снегом, и он сверкает под фонарями — прямо сказка, дух захватывает. Больше всего я мечтаю о том, как в сумерках поведу моего Йози кататься на салазках на набережную Стадхаудерскаде. Там так весело, так красиво.

Клер наконец смогла дать волю рвущемуся из нее смеху:

— Какую, какую набережную?

— Стадхаудерскаде.

— Ну что за варварский язык! Неудивительно, что Голландия постоянно под угрозой затопления. Просто природа не может вынести вашего языка.

— Oui vraiment![13] — бойко парировала Лини.— А когда высокоцивилизованный француз получает отпуск, куда он направляется?

— На юг Франции, куда же еще?

— Вот именно — куда же еще? Но почему это, когда в Голландии распускаются тюльпаны, со всех сторон слышишь французскую речь?

— Но, может, это англичане?

— Ах вот оно что!— Повернувшись к остальным, Лини с надменным видом проговорила:—Клер считает, что нет на свете ничего прекрасней собора Парижской богоматери. А мне бы хотелось, чтобы вы когда-нибудь увидели, как цветут поля тюльпанов. Только представьте себе— тысячи распустившихся белых-белых тюльпанов, целое поле... И тут же рядом поле пурпурных тюльпанов... А дальше — розовых или черных-пречерных. Поверьте мне, дух захватывает, просто одно из чудес света.

— Черные тюльпаны, в самом деле черные? — удивился Норберт.— В жизни не видел.

— А у нас есть. Бывают даже тюльпаны, похожие на орхидеи.

— И даже похожие на фиалки?— с самым невинным видом спросила Клер.

— Ну смейся, смейся. А вот приедешь ко мне как-нибудь весной, тогда запоешь по-другому.

— Лини, милая,— глаза Клер улыбались,— хочешь знать, в чем подлинное различие между Голландией и Францией? Не в тюльпанах суть, не в каналах и не в соборе Парижской богоматери...

— Ой, знаю, знаю,— перебила ее Лини.— Самое главное — необыкновенное, необыкновенное сияние неба над Парижем. Ни в одном другом городе такого не увидишь. Сияние очей божьих падает прямо на французов.

— Нет, и не в этом суть. А вот в чем. Как-то раз, еще до

войны, ехала я в переполненном автобусе. Водитель вдруг резко затормозил, й я всей тяжестью рухнула на какого-то пожилого человека. Вот и скажи мне: случись такое с тобой в Амстердаме, что бы за этим последовало?

— Как что? Тот человек помог бы мне подняться, я бы сказала: «Ах, извините», а он ответил бы: «Ну что вы, пустяки».

— Совершенно верно. Но так как мой старичок был француз, он коснулся рукою шляпы и сказал: «Мадемуазель, на такой подарок судьбы я не мог надеяться».

Все рассмеялись, и Лини тоже.

— Ну что ж, очко в твою пользу,— ухмыльнулась Лини.— Может, я все-таки возьму и приеду к тебе в Париж. Как ты думаешь, удастся тебе подыскать для меня какого-нибудь красавчика в цилиндре, чтоб целовал мне ручку? — Она тяжело вздохнула.— Всю жизнь об этом мечтаю.

— В Люксембургском саду всегда полно дутышей.

— Дутышей? Это у вас такая кличка для красавчиков-жиголо?

— Ой, нет. Дутыши — порода голубей.

— Знаю, но какое отношение имеет голубь к галантному кавалеру, который будет целовать мне ручку?

— Если я не найду тебе кавалера, ты всегда можешь покормить голубка в Люксембургском саду, и он оставит у тебя на руке чуточку merde.

— Ах ты!—Лини так и покатилась со смеху.— Видно, надо мне снова тебя помыть, ишь сколько грязи — и внутри и снаружи.

Мужчины двинулись к двери; по дороге Андрей остановился возле Клер, тихо сказал по-русски:

— Знаете, чего бы мне хотелось? Иметь право быть рядом, когда вы моетесь. Не поймите меня превратно, просто мне так хочется о вас заботиться, быть вам опорой.

И снова, во второй раз за этот день, у нее выступили на глазах слезы — оттого, что чувство его так сильно, а ей на него ответить нечем. И, глядя в сторону, Клер глухо проговорила:

— Спасибо, я поняла вас правильно.

— Мама далеко, а Андрей рядом,—весело повторил он свои же слова.

Тогда, повинуясь внезапному порыву, она сказала напрямик:

— Только вы сами себя обманываете, Андрей. Не доставит вам радости видеть мое иссохшее тело, да и для меня это было б ужасно. Вы мне не сестра, не мать. Вы мужчина, вам нужна нормальная женщина, любовница, а не я.

— Нет, Клер, вы не понимаете,— сказал он сдержанно и тихо. — Словно я вам играю и вы как будто бы слушаете меня, но улавливаете лишь отдельные ноты. Ведь что я вам пытаюсь

втолковать: для меня было бы великим счастьем видеть, как день ото дня тело ваше вновь расцветает. Почему? А вот почему. Что бы нас ни ждало впереди, я смотрю на вас как на будущую жену. А разве для мужчины не радость заботиться о жене?

— Ах, Андрей! — вырвалось у нее.— Вы так обогнали меня, и чувство ваше так серьезно — нет, это не к добру.

— Но почему же? — спросил он просто.— По-моему, наоборот, к добру.

И он вышел, прикрыв за собой дверь.

Она стояла удрученная, встревоженная сумбуром, который он вызвал в ее душе. Андрей и раздражал ее и трогал. Его заботливость, ласкающий взгляд оказывали свое коварное действие. Она ощущала, как где-то глубоко разгорается в ней простая радость — оттого, что она вновь дорога и желанна мужчине... Пусть даже мужчине, до

того ослепленному желанием, что он не видит, во что она превратилась.

2

Оставшись вдвоем, женщины сняли платочки, чего никогда не сделали бы в присутствии мужчин. Еще и двух недель не прошло с тех пор, как их обрили в последний раз; волосы только начали отрастать, и, казалось, головы их покрыты пушистой облегающей шапочкой — рыжевато-каштановой у Лини и золотистой, цвета спелой пшеницы, у Клер. Шутливо, но с затаенной надеждой задали они друг другу один и тот же вопрос — отросли ли волосы хоть немножко со вчерашнего дня.

— Да они у тебя так и прут,— объявила Клер.— Еще неделю, и мне придется искать у тебя в голове, это уж точно. Ну а как там мой пушок — пробивается?

— Ничего, я бы сказала — что-то вроде трехдневного цыпленка. Как это так получается, что мужчина, даже если он лысый, все-таки может нравиться, а обритая женщина теряет почти всю свою женскую привлекательность?

— Ну тебе беспокоиться нечего. В платочке и в этой одежде ты очень женственна. А вообще-то Норберту хочется не по волосам тебя погладить.

— А ты почем знаешь? Мужу мои волосы нравились, он их так часто гладил. Уж если это говорю я, можешь поверить: красивые были волосы, длинные, я заплетала их в косы.

— Знаю. Ты, видно, забыла, что в Тулузе еще была с косами. Но честное слово, так ты мне нравишься больше, у тебя голова чудесной формы.

Лини фыркнула:

— Эх, подружка! А ну-ка, подружка, разденься, мне охота взглянуть на твои пышные телеса. Да, между прочим, мне один врач говорил: когда такие вот заморыши вроде тебя начинают поправляться, частенько случается, что одна ягодица у них полнеет, а другая так и остается усохшей.

— Значит, мне повезло! Искушенным мужчинам это нравится — пикантно! Стану носить юбку в обтяжку и сведу Париж с ума.

Лини ухмыльнулась, мокрой рубашкой вытянула подругу пониже спины.

— Ну, теперь расскажи, что у тебя было ночью с Андреем. Он сейчас так на тебя смотрел — в глазах вся его душа видна, до самого донышка.

— Знаю, это меня и мучает...

Лини слушала внимательно, ласковая улыбка не сходила с ее губ. Только раз она тихонько вставила:

— Да, он и вправду славный.

К тому времени, когда Клер кончила свой рассказ, обе успели вымыться.

— Скажи-ка,— вдруг спросила Лини.— Когда он тебя целовал, тебя это волновало?

— Как женщину? Нисколько.

— Но тебе не было неприятно?

— Нет, я расплакалась, такая у меня была К нему нежность...

— В таком случае я тебя не понимаю. Он тебе мил, когда он тебя целовал, тебе это было очень приятно, хоть и не волновало. Почему же ты не пошла бедняге навстречу?

— Потому что, когда снова буду с кем-нибудь вместе, хочу и сама испытывать страсть. Нужно ведь и со мной считаться.

Лини перестала натягивать рубашку, испытующе посмотрела на Клер.

— А если бы здесь очутился Пьер?

— Лини! Сказать мне такую ужасную вещь! Какая жестокость! Как ты могла?

— А так: я вижу, что ты себя обманываешь, и мне это не нравится. Я-то знаю — для человека, который тебе по-настоящему дорог, ты готова на все.

— Но не в интимной жизни. И потом, Андрей мне не муж, знакома я с ним всего третий день, любви у меня к нему нет, почему ж ты считаешь, что я должна ему все позволить?

— Никому ты ничего не должна. Если б мы были нормальные люди, жили обычной размеренной жизнью — дело другое. Разве тогда меня бы тянуло к Норберту с такой силой? А так — какое имеет значение, давно ли ты знаешь Андрея? Нет, совсем не в том дело.

— А в чем же?

— Вчера ты спросила меня, не боюсь ли я забеременеть. А нынче утром — этот твой сон. Вот где собака зарыта. Ты вела бы себя с Андреем совсем по-другому, если бы не боялась последствий.

Секунду-другую Клер молчала, сосредоточенно морща лоб, потом рассмеялась коротким, горьким смешком:

— Что ж, может, ты и права.

— Но беспокоиться-то не о чем. Не можем мы забеременеть.

— Думаю, в моем нынешнем состоянии это маловероятно, но все-таки не исключено.

— Что ж, носись со своими страхами, если не можешь от них отделаться, только вот тебе мой бесплатный совет — расскажи все Андрею. Кстати, он очень допытывался, что это у тебя за сон такой.

— Ничего я ему не скажу.

— Почему?

— Потому что сама стыжусь своей фобии.

— А что такое фобия?

— Навязчивый страх. У меня — боязнь забеременеть.

— Господи, что за дурочка! Во-первых, не всегда же он будет, этот страх; во-вторых, ты ведь не виновата, что так у тебя получилось. Все мы вышли из этого ада израненные — каждый на свой лад. И все-таки если теперь, после вашего ночного разговора, ты ничего ему не скажешь — жди осложнений. Как бы деликатно он ни держался, ведь он хочет тебя мучительно. Просто вывих какой-то — говорить человеку, что он тебе нравится, но что подпустить его к себе ты не можешь. И это в наших-то обстоятельствах.

Клер вдруг почувствовала глубокую усталость.

— Я об этом поразмыслю. А теперь идем отсюда, надо же и мужчинам дать помыться.

В дверях Лини остановилась и, думая о своем, грустно сказала:

— А знаешь что? Может, Голландия уже освобождена? Может, я увижу Йози совсем скоро — через каких-нибудь несколько недель. Боже, что это будет за день! У меня сердце разорвется от радости.— Потом вдруг: — Если сегодня ночью Норберт не свистнет мне, придется взять его силой.

— Интересно, а как голландкам такое удается? Мы этого не проходили.

Лини рассмеялась:

— Вот я как раз и обдумываю, как приступить к делу.

Юрека, Андрея и Отто они нашли в огромном пустом цеху — те сидели на ступеньках лестницы.

— Эй, девушки! — окликнул их Отто.— Мыла нам оставили?

— А как же, большущий кусок.— И Клер показала руками:— Вот такой. Ничего, что оно душистое? Вы не возражаете?

— Еще как возражаю. Тогда уж лучше никакого не надо.

Юрек рассмеялся:

— Да если б кто-нибудь дал тебе кусок мыла, ты бы то мыло исцеловал, будто это есть красивая паненка. Не-е-ет?

— Ха-ха! Правильно,— подхватил Отто. Потом показал не противоположную стену.— Видите, девушки, вон те два окна, что поближе? Если придется прыгать, то в эти.

— Почему именно в эти? — спросила Клер.

— Рамы тут везде двойные, и наружные примерзли к косяку. Так что пришлось пустить в ход мой нож и долото, которое принес Юрек; мы основательно попотели, пока удалось открыть те два окна. Теперь будем каждый час проверять — как бы опять

не примерзли.

— Да здравствуют мужчины! — с жаром воскликнула Лини.— Нам, женщинам, в жизни до этого не додуматься бы.

— Виват Андрею! — сказал Юрек.— То была его мысль.

Андрей только отмахнулся:

— На моя родина мы больше привыкали к таким окнам.

— Ладно,— сказал Отто.— А теперь пошли отмокать в горячей ванне.— И, приставив ко рту согнутые ладони, он крикнул: — Эй, Норберт, можешь спускаться!

— А что он там делал? — спросила Лини.

— Следил за дорогой, пока вы мылись.

— Так, может, теперь нам подежурить наверху?

— Сами справимся, будем по очереди следить из нижнего окна.

Мужчины двинулись во внутреннее помещение, и, проходя мимо Клер, Андрей сказал ей по-русски:

— Вы немного порозовели после мытья. До чего же приятно это видеть.— Потом по-немецки Лини: — Ну сейчас вы повторяете массаж, да? Так делать правильно!

— Так точно, доктор, помассируем,— улыбнулась Лини. А когда он вышел, добавила: — Из него получится преданный муж, можешь не сомневаться.

Клер только нос сморщила:

— Гадалка из тебя не выйдет, этим ты себе на хлеб не заработаешь.

— Смотри-ка, а ведь нам обеим снова придется думать, чем зарабатывать себе на хлеб. Что ж, секретаршам и переводчицам... — она не докончила: на верхней площадке лестницы появился Норберт.— Ну, какая там, наверху, погода? На дороге, должно быть, ни души — иначе вы бы нам крикнули?

— Видел парочку ворон, больше ничего.

— А чем кормятся вороны в такую снежную зиму?

— Не знаю.— Он стал спускаться и, когда очутился у Клер над головой, вдруг добавил: — И знать не хочу.

Было в его голосе что-то такое, что заставило Лини весело расхохотаться. Норберт, улыбаясь, смотрел на нее сверху. Но вот улыбка его погасла, теперь весь вид его выражал тоскливое, страстное желание.

У Лини сразу стало серьезное лицо. Мгновение спустя Клер могла бы поклясться, что они начисто позабыли о ней. Их взгляды сомкнулись накрепко, их глаза говорили. Но вот Норберт протянул руку, и Лини встала. Щеки ее раскраснелись, глаза горели. Не сказав Клер ни слова, даже не взглянув на нее, она стала подниматься по лестнице.

Клер слушала их удаляющиеся шаги, у нее ком подкатил к горлу. А когда шаги стихли, растроганно заплакала и всей душой пожелала Лини, чтобы ей было радостно и хорошо. Потом откуда-то из глубины ее существа нахлынуло и волною обрушилось воспоминание: насквозь просвеченный солнцем день, когда она стала возлюбленной Пьера. Где все это теперь — его страсть и нежность, его ласковые глаза и теплые губы? Силой отняты у нее навеки, сожжены, обратились в прах, что развеян польскими ветрами.

— О, мой Пьер!

3

Дрожащие, безмолвные, поднялись они по лестнице. На втором этаже кирпичной пыли не было; часть помещения была разделена перегородками на клетушки. Норберт толкнул одну из дверей, и они очутились в закутке, служившем, по-видимому, конторой. Дверь, щелкнув, захлопнулась, они повернулись друг к другу и так стояли, порознь, даже их руки не соприкасались. Но слишком долго пришлось им быть оголенными — и перед другими и перед собой,— чтобы теперь скрывать свои желания и страхи, истинное свое «я». И хотя у Лини дрожали губы, она чуть улыбнулась, зашептала:

— Что ж ты не решался так долго? Не понимал разве, что я жду?

Ответ прозвучал не сразу:

— Боялся.

Она бросила на него испытующий взгляд.

— Чего же?

— Что я больше не мужчина.

— Но почему?

— Сколько лет без женщины...

С сияющими глазами, широко улыбаясь, она шагнула к нему, крепко обняла.

— Нет, ты настоящий мужчина — другого такого не сыщешь.

И тогда он прижал ее к себе, из горла у него вырвался удивленный возглас:

— Я с женщиной!

Лини не обиделась. Она поняла его правильно. И в ответ стала осыпать быстрыми, нежными поцелуями. Потом в непроизвольном порыве нежности, просто чтоб показать, что ее тянет к нему так же сильно, как его к ней, положила руку ему на колено. Все в нем заполыхало, и, когда первый жадный его поцелуй оглушил ее, в душе у нее расцвела радость — пронзительней, глубже той, какую она познала в день свадьбы, в объятиях мужа, и даже в тот миг, когда ротик ребенка впервые нашел ее грудь.

4

Из внутреннего помещения вышел Отто и стал рыскать вокруг глазами, пока не увидел сидящую на ступеньках Клер. Воровато оглядевшись по сторонам, он быстро подошел к ней и странно напряженным голосом, никак не вязавшимся с обыденностью его слов, сказал:

— Мне повезло, дорвался до бритвы первый.— Потом, что-то переборов в себе, полез в карман и извлек оттуда кусочек сахара. — Всего три осталось; вот — берите один.

Подавив тягостное чувство, Клер взяла сахар, поблагодарила.

После некоторой заминки он спросил:

— А где Лини?

Клер ничего не ответила.

И тут он взорвался:

— С Норбертом, да?

Она кивнула, и ей стало до боли жаль его. Она надеялась, что разговор на этом закончится; впрочем, то, что последовало дальше, не было для нее такой уж неожиданностью.

— Меня забрали в семнадцать лет, понимаете? — пробормотал он, запнувшись на слове «забрали».— У меня нет опыта.— Он помолчал, покусывая нижнюю губу. Лоб его покрылся испариной.— Я в том смысле... Черт подери... Ну, я в том смысле... У меня никогда не было женщины, я не знаю, как это бывает...— Он глубоко, прерывисто вздохнул, в его горящих глазах стоял немой вопрос.— Ведь это же ужас! Вы только подумайте, что за жизнь у меня была! — Резко повернув голову, он метнул взгляд на закрытую дверь.— Клер, будьте со мной поласковей, ну пожалуйста.— Он схватил ее за руки. Слова беспорядочно сыпались, наскакивая, друг на друга.— Помните, там, в сарае, я дал вам колбасы, и вы заплакали. Вы сказали тогда: «Вы так к нам добры, это в первый раз за два года мужчины обошлись с нами по-человечески». Клер, ну пожалуйста, будьте и вы добры ко мне. Я столько перенес, ведь меня взяли мальчонкой, и семь лет...

— Но я не могу.— Жгучее сострадание охватило ее.— Посмотрите на меня, я сущая мусульманка, да и внутри у меня еще все мертво. Не могу я сейчас быть с мужчиной — ни с каким. Поймите, Отто.

— Нет, нет, не говорите так! За что мне такая несправедливость! — Он стал лихорадочно целовать ей руки. Потом крепко сжал ее плечи.— Позвольте мне только целовать вас, и тогда, быть может...

— Но это же правда, клянусь вам! — выкрикнула она. И с горькой мукой торопливо добавила, примешав к правде ложь: — Будь здесь сейчас даже мой муж, я не могла бы... Это было бы для меня ужасно, я еще слишком изнурена!

Он медленно выпустил ее руки и встал, его била дрожь. Смущенная, с болью в сердце, смотрела она на его потерянное лицо и думала: «Ах ты несчастный, состарившийся мальчишка».

— Ну а после, когда вы придете в себя? — вдруг бросил он с вызовом.— Тогда как? Может, теперь недолго ждать?

— Там посмотрим...

Глаза его снова вспыхнули.

— Но это буду я, а не Андрей, слышите?

— Отто, ведь мы не можем знать, что случится с нами в следующую секунду.

— Так вот, слушайте! — заорал он.— Сперва Юрек организовал себе бабу, теперь Норберт. Вы что думаете, я смолчу, если вы и Андрей?..— Лицо у него задергалось.— Да я его убью, прежде чем...

Клер вскочила со ступеньки, с усилием выдохнула:

— Что?

— Не вздумайте со мной такое проделать, предупреждаю вас. Я столько лет провел...

— И они превратили вас в фашиста? — в бешенстве выкрикнула она.— Мало вы насмотрелись на убийства? А может, вас тоже на кровь потянуло?

Он пожирал ее глазами, возбужденный, красный.

— Не вздумайте со мной такое проделать. Если у вас кто-нибудь будет, так только я.

Она посмотрела на него презрительно, с отвращением, но тут же снова подумала: «Ах ты несчастный, состарившийся мальчишка». И, опустившись на ступеньку, заговорила медленно, горько, не сводя глаз с его пылающего лица:

— Мы шестеро стали такими добрыми товарищами. Хоть мы из разных стран, все равно мы словно братья и сестры — никаких предрассудков, никаких глупостей. Все, что проделывали фашисты, должно нам быть отвратительно, а теперь вы, будто фашист, грозите убийством.

Это как будто задело его. Он вяло отмахнулся, запротестовал:

— Я просто так.

— Да и выражаетесь словно капо какой-нибудь: «организовал бабу»! Вот что я вам скажу. В Освенциме нам приходилось «организовывать» то гребенку, то ложку, то кусок мыла. Но мы, Лини и я, не куски мыла, и выберем себе — если это нам будет нужно — кого захотим. Нас «организовать» нельзя.

— Клер, но это же просто так, выражение такое,— умоляюще проговорил он.

— *Нет,* не просто так.

Дверь отворилась, и из внутреннего помещения вышел Юрек. Не видя его, Отто униженно забормотал:

— Ну вот, теперь вы меня возненавидите. Ой, не надо, Клер, прошу вас. Я же просто так ляпнул, что убью его. Я совершенно не в себе. Оттого что я на воле, что-то во мне разладилось. Голова пошла кругом. Захотелось вдруг всего сразу...— Внезапно он смолк— к ним приближался Юрек.

— Где же Норберт? Видно, он не хочет сегодня мыться, тот человек? — И тут в глазах Юрека мелькнула догадка. Он перевел взгляд с Клер на Отто.— Я, пожалуй... Пожалуй, схожу до тех окон, взгляну, не примерзли ли часом.— И он отошел.

— Клер, не надо меня ненавидеть,— зашептал Отто,— не надо, очень вас прошу.

— А вы меня не вынуждайте.

— Может, Юреку нужна моя помощь,— буркнул он вдруг. Потом, не глядя на нее, полез в карман и, прежде чем она успела раскрыть рот, положил ей на колени два куска сахара и бросился к окнам.

Все это вышло так по-детски, что в пору было рассмеяться, но Клер было не до смеха. Ее всю трясло — от гнева и от тягостного предчувствия. Эти безумные глаза, дергающийся рот... Всем его извинениям, мольбам грош цена. У него нож... Семь лет изо дня в день он видел, как убивают людей... И оттого что он на свободе, у него голова пошла кругом. Что ж, его можно понять. Еще как! Вот это и есть самое страшное.

5

— Что с тобой? — вновь и вновь встревоженно спрашивал Норберт.— Я тебе сделал больно? Отчего ты все время плачешь?

Лини качнула головой, словно только сейчас его услышала. Веки ее дрогнули, открылись. Улыбка тронула губы, исчезла, потом появилась вновь. Не утирая слез, она прерывисто вздохнула, исступленно обняла его. Губы ее подергивались от невыговоренных слов, но слова не шли.

Потом она выдохнула шепотом:

— Господи боже мой! — А мгновение спустя: — Нет, мне не было больно.— И наконец: — Нет, Норберт, ты не тело мое ласкал — обнаженное сердце. Я словно заново родилась.— Она опять стала всхлипывать: —Господи боже мой — вот, значит, как оно может быть, когда мужчина и женщина вместе!

6

— Видел бы ты сейчас свое лицо,— прошептала Лини.

Они уже оделись — в комнатушке было холодно,— но по-прежнему лежали, крепко обнявшись, и говорили, лаская друг друга,— глаза и руки их все не могли насытиться радостью. Вдалеке прогрохотал одиночный залп, но они его не услышали.

— А что?

— До того оно доброе. Всегда бы так... А то утром оно меня испугало.

— Ты шутишь...

— Нет. Когда Андрей и Отто сцепились и надо было решать, как нам быть дальше, ну и лицо у тебя стало — прямо железное.

— Правда? Сам этого не замечаешь.

— Да, но теперь-то я поняла. То было не твое лицо, а лицо тех двенадцати лагерных лет.— Она вздохнула, погладила его по щеке.— Боже мой, сколько ты всего натерпелся! Пусть я знаю про тебя мало, но одно знаю твердо — ты замечательный человек.

Он уткнулся в ее теплую шею.

— Ты меня перехваливаешь.

— Ничего подобного. Да будь ты другой, знаешь, чем бы ты стал за эти годы? Думаешь, я не видела, во что превращались иногда старые лагерники? Вроде бы политические, а в лагере становились скотами.

— Ну ладно,— он коротко рассмеялся.— Я замечательный, пускай. А я вот что тебе скажу, Лини, милая, ты мне сразу пришлась по душе, и чем дальше, тем нравилась сильней. Но я не знал, как ты ко мне относишься.

— А что, не видно было разве?

— Все-таки я не был уверен. Я думал: «Похоже, я ей по душе, но, как дойдет до дела, может, у нее волосы дыбом встанут при одной мысли, что к ней прикоснется немец».

— Ах вон что! — воскликнула она.— Значит, ты не за свою мужскую силу опасался?

— Ну, малость и за это, в общем, и за то и за другое вместе.

Она посмотрела на него.

— Чем больше я тебя узнаю, тем больше ты мне нравишься. Но что это тебе вздумалось — взваливать на себя грехи фашистов?

— Вовсе нет, что ты. Просто мне кажется: после всего, что было, еврейка, глядя на немца, должна себя спрашивать: а не антисемит ли он? Вот ты разве так не подумала?

Она быстро поцеловала его.

— Нет.

— Почему?

— А потому, что мне с первого взгляда все стало ясно. Я была с желтой звездой и внимательно наблюдала за вами всеми. А потом, не такая уж я серая. Я прекрасно знаю: первыми жертвами фашизма были именно немцы — такие, как ты. Поэтому, когда я увидела, что ты политический, сразу подумала: вот это человек!

— Будет ли мир помнить о них?..— со вздохом сказал Норберт.— Я все думаю о десятках тысяч немцев, погибших в Дахау и Бухенвальде, такие замечательные были люди... Но сам-то я вовсе не тот, за кого ты меня принимаешь. Кто работал в подполье — вот те действительно герои. Может, я бы дорос до этого, а может, и нет. Выбирать-то мне так и не пришлось.

— Как же это? Ведь тебя взяли за политику?

— Да, но вышло все совершенно случайно.

— Расскажи.

— Зачем? Сейчас ты мной восхищаешься. А узнаешь всю правду — уйдешь от меня к Отто или к Андрею.

Лини ласково шлепнула его по щеке.

— Скверные у тебя шутки... Ну... Я слушаю.

— Так вот, через несколько дней после того, как в рейхстаге был пожар, попал в беду один знакомый парень. Знать я его толком не знал, просто разок-другой мы с ним были напарниками по работе. И вот стою я возле своего дома, вижу — он мчится по другой стороне, на голове рана, кровь так и льет. Я, конечное дело, его окликаю. Он бросается ко мне, умоляет где-нибудь спрятать — за ним гонятся штурмовики. А женщины мои как раз ушли куда-то. Будь они дома, я бы еще хорошенько подумал. Но тут сразу хватаю его за руку и тащу к нам. То ли кто-то видел нас и накапал коричневым рубашкам, то ли они гнались за ним по пятам и сами смекнули, что он забежал куда-то в дом — в общем, оцепили они несколько улиц и стали прочесывать квартиру за квартирой. Оказалось, что Карл — видный человек в коммунистической организации Ростока; они и решили, что я тоже коммунист. Вот как оно вышло.

— И вовсе это не случайно, Норберт. Ведь ты мог от него отвернуться — на твоем месте так бы многие поступили.

— Знаю. Но то, что человек делает сгоряча, не успев подумать.«

— ...говорит о многом,— перебила его Лини.— И показывает, какой он на самом деле.

Норберт припал губами к ее лбу.

— Будь по-твоему 4 И все-таки я не хочу, чтобы ты меня зря возвеличивала. Ну кто я был? Плотник-подмастерье, простой

неученый парень, и в общем-то больше всего думал о том, как бы подработать. На профсоюзные собрания и то ходил редко. Понимаешь, в ту пору рабочему человеку очень трудно было перебиться. Мне надо было кормить мать, сестру, жену, а работать удавалось дай бог если дней семь за весь месяц. Надену, бывало, на плечи сумку с инструментами и пошел: от двери к двери — ищу, где бы стол починить или стул. Так что голова у меня не политикой была забита. Правда, гитлеровская банда мне была не по нутру, но я не особенно в этих делах разбирался. Только в Дахау стал понимать» что к чему.

Она прижалась к нему, крепко поцеловала. Минуту-другую им было не до разговоров. Потом Лини вздохнула.

— А что стало с твоей семьей?

— Жена со мной развелась.

— Вот так жена!

— А я ее не очень виню. Мы с ней не особенно ладили. И потом, когда человека сажали, фашисты здорово прижимали его семью.

— А что с матерью и сестрой?

— С самого начала войны у меня от них никаких вестей. Слышал, что Росток бомбили.

Короткое молчание.

— На дворе темнеет.

— Да ну? Эх, если бы время остановить — лежал бы тут с тобой и лежал лет сто. Какого цвета у тебя волосы, моя хорошая?

— Каштановые, с рыжеватым отливом.

— Отросли уже немножко?

— Меньше, чем у тебя.

— Дай поглядеть.

— Ой, ни за что! Только когда отрастутˆ—хоть настолько, чтоб я опять стала похожа на женщину.

— А если зажмурюсь, дашь дотронуться?

— А ты обещаешь не смотреть?

— Обещаю.

— Пока будешь их трогать, целуй меня без передышки. Тогда я буду точно знать, что ты не подглядываешь.

Он рассмеялся:

— Не очень-то ты доверяешь мужчинам, а?

— Не в том дело, просто я...

Он приник губами к ее губам. Она сдвинула платок на затылок, и пальцы его коснулись облегающей шапочки коротких шелковистых волос, ласково пробежали по ним. Потом он сам водворил платок на место.

— Ох, сдается мне, этот поцелуй такой же жадный, как

первый. Отчего бы это?

— Волосы у тебя мягкие-мягкие.— Он стал расстегивать ее кофту.— Я мог оказаться с другой женщиной. Но как хорошо, что это ты. Лини, ты мне нравишься, очень нравишься.

— А уж ты мне до чего нравишься, Норберт! Вот если б тело у меня было такое, как раньше... Хорошенькой я никогда не была, но грудь у меня была красивая. Эх, была бы она как раньше — мне этого ради тебя хочется.

— Забудь обо всем,— сказал он ласково.— Ты для меня мечта —- такая, как ты есть.

— Боже, какое счастье! — шепотом выдохнула она.— Поцелуй меня так еще раз. Нет, подожди! Дай я сперва... Повернись чуть- чуть... Ага, а теперь... Ну, Норберт, ну, мой желанный!

И снова в этой пустой конуре им на какой-то миг стали подвластны солнце и звезды, небо и земля — все, кроме их будущего. И единственное, о чем они между собой не говорили,— это о будущем.

7

Клер встревоженно, торопливо предупредила Андрея:

— Берегитесь Отто. Ни в коем случае не говорите со мной по-русски. Постарайтесь дежурить сегодня ночью, я тоже встану.

Андрей кивнул и с этой минуты был начеку. Несколько часов он упражнялся на «виолончели» и, казалось, был совершенно поглощен своим занятием, но на самом деле зорко следил, чтобы Отто не очутился у него за спиной. Клер завернулась в одеяло и притворилась спящей.

После их тягостного объяснения Отто с ней больше не заговаривал; Андрея он будто и не замечал, да и с Юреком за все время едва ли перебросился двумя словами. Взвинченный до предела, он все ходил взад-вперед мимо окна, и Клер видела, что губы у него беззвучно шевелятся и временами он начинает нервно жестикулировать.

В сумерки, когда Юрек ушел к Каролю, тревога захлестнула ее. Но потом ее чуть-чуть отпустило. Отто все шагал взад-вперед вдоль подоконника, по-прежнему не обращая на Андрея никакого внимания. Может, он думает о Лини и Норберте? Она и сама то и дело возвращалась к ним мыслью.

Оказывается, не такая это приятная штука — остро почувствовать свою неполноценность. Она всем сердцем радовалась за Лини и в то же время терзалась. Разве могло ей когда-нибудь прийти в голову, что это будет такое унижение — чувствовать себя погасшей? Что на нее внезапно навалится такая тоска? Несмотря на угрозы Отто, в мечтах она то и дело представляла себе, как они с Андреем останутся вдвоем, и она ничего не будет бояться, и оба они вновь познают высокую радость страстного полного слияния, которой так долго были лишены. Собственное тело стало ей ненавистно, мысль о том, что усилием воли нельзя оживить угасшую плоть, приводила ее в отчаяние.

Не прошло и часа, как Юрек вернулся, к большому ее удивлению. Она села, протяжно зевнула — специально для Отто — и осведомилась у Юрека, нет ли новостей.

— Достал для вас детские резиновые сапожки. Думаю, подойдут. Хлеба сегодня нет, зато вот — картофельная похлебка с луком, репа, а еще — ну-ка угадайте, что? — малюсенький кусочек мыла. Это есть подарок Зоей.

Раздался нервный смешок Отто.

— Видать, она от тебя без ума. Чего ж ты так скоро прибежал обратно?

Юрек уныло скривился:

— Везет как утопленнику. Зося больна. Простудилась, кашляет.

— Ах вы, бедняга,— тихо сказала Клер.

А Отто загоготал:

— Стоит женщине разок побыть с тобой, и она заболевает, а?

Андрей отложил дощечку, нетерпеливо сказал:

— Так как же — есть дома, где нас спрячут? Что Кароль тебе говорил?

Юрек беспомощно развел руками.

— Вечером он пойдет до соседей, будет спрашивать. Но он думает, они откажутся.

Андрей, негромко выругался по-русски.

— Почему?

— У нас же нет документов. А когда немцы приходят до деревни, они у всех спрашивают паспорта. И кто нас прячет, у того расстреливают всю семью.

Андрей снова выругался.

— Плохой дело!

— Ну что же, теперь и поесть можно,— сказал Юрек. И деловито осведомился у Клер: —Лини и Норберта будем звать, не-ет?

Клер поразмыслила секунду.

— Нет. Спустятся сами, когда сочтут нужным.

Черпая ложкой суп, Юрек спросил:

— Андрей, почему ты считаешь, что все будет плохо? Мы же можем утекать до леса.

— Вы переводите, хорошо? — подчеркнуто официально обратился Андрей к Клер. И стал объяснять: он надеялся, что советские войска произведут решающий прорыв где-нибудь поблизости. Но со второй половины дня в их секторе наступило затишье — орудия бьют далеко отсюда, километрах в двадцати. Если это означает, что фронт здесь временно стабилизировался, их могут схватить в любой миг.

Когда Клер перевела слова Андрея, Отто угрюмо буркнул:

— Ну тут мы ничего поделать не можем, верно?

— Я все это хочу обдумать,— сказал Андрей.

Первый раз за все время они поели в молчании.

Глава седьмая. ТРИ КАПУЦИНА

1

Едва они поужинали, спустились Лини и Норберт. Лини заговорила, и в голосе ее было такое безудержное веселье, что даже Отто улыбнулся, и атмосфера немного разрядилась.

— Если вам кажется, что я ступаю по земле, обратитесь к глазнику.— Из Лини так и рвался смех.— Я парю в воздухе и сим удостоверяю: Адам и Ева были не дураки, не зря слопали яблоко.

Радуясь ее оживлению, Клер подхватила:

— А я-то всю жизнь раздумываю — зря или не зря? Ну как, теперь мой черед кормить тебя с ложечки?

— Вот еще. Но я помираю с голоду. Что у нас на ужин?

— Жареный Норберт,— сказал Отто.

Раздался взрыв смеха, посыпались такие же неуклюжие добродушные шуточки. И к тому времени, когда стали укладываться спать, мир как будто был восстановлен — хотя бы внешне.

Но у Клер на душе покоя не было. После всего, что произошло днем, в мыслях был полный сумбур. Теперь ей мучительно хотелось поговорить с Андреем наедине, отвести душу, дать волю своим чувствам— любым, какие на нее нахлынут. Она прекрасно знала: будь на месте Андрея другой мужчина, пусть даже самый привлекательный, ее вовсе не тянуло бы остаться с ним вдвоем. Но Андрей так ясно дал понять, что не станет ничего от нее требовать... Сознает он, как мудро поступил? Или это природная чуткость музыканта?

Прошло уже около часа с тех пор, как все улеглись. Сперва Отто беспокойно ворочался с боку на бок, но потом затих, лежал ничком, положив руки под голову. Клер еще раньше успела шепнуть Андрею, что, когда все уснут, она выйдет в цех — как будто ей нужно в уборную. Если Отто не проснется, пусть Андрей идет за нею следом.

И вот она выскользнула из-под одеяла, приподнялась, досчитала до тридцати. Потом встала, подождала еще немного. Отто не шевельнулся. Он лежал между Норбертом и Юреком и как будто похрапывал — впрочем, может, храпел и не он. Клер пошла, стараясь ступать как можно осторожнее, пошире расставлять ноги, чтобы резиновые сапожки не терлись друг о друга, не скрипели. Сапожки были старые, и она шла бесшумно — Андрей услыхал ее, лишь когда она очутилась рядом. Он обернулся, и на фоне окна она увидела его профиль — половину лица, половину улыбки. Он кивнул, и она двинулась дальше. Сердце колотилось, и хоть ее трясло от волнения, дверь она

открывала медленно-медленно. Петли давно уже не смазывались, и после каждого звука Клер замирала, вглядываясь в неподвижную фигуру Отто. Прошло несколько минут, пока ей удалось наконец проскользнуть в приоткрытую дверь. Чуть погодя вышел и Андрей. Ощупью отыскал ее руку, поцеловал. Молча, в потемках, они пробрались к лестнице. На первой площадке Андрей прошептал:

— Надо держаться поближе к ступенькам: вдруг покажутся фрицы.— На втором этаже он отворил дверь первой же клетушки и, заглянув в нее, прошептал: — Здесь есть окно.

Она вошла, и он закрыл дверь. В комнатке было темно, лишь в окне брезжил лунный свет. Они стали вглядываться в ночь. Почти полная луна близилась к зениту, по небу проносились тучи. Отсюда, сверху, дорога была видна явственно — тонкой полосой прорезала она белые поля.

— Так что же случилось? — тихо спросил Андрей.

Клер передала ему свой разговор с Отто.

— Вы видели, какой он был весь вечер,— добавила она.— Взвинченный, сам с собой разговаривал. Его угроза не шутка. Я хочу, чтобы вы это поняли.

Андрей кивнул.

— Клер, станьте, пожалуйста, вот сюда. Так я смогу и на вас смотреть, и на дорогу.

Клер шагнула к окну.

— Такой неуравновешенный — никогда нельзя знать, из-за чего он взорвется. Еще до того, как Лини ушла с Норбертом, он все злился на нас с вами, почему мы говорим по-русски, ревновал. А теперь будет еще хуже. Так что, пожалуй, придется нам русский отставить.

Хотя света у окна было маловато, Клер увидела, что Андрей недовольно поморщился. Она взяла его за руку.

— Андрей, ведь мне это тоже очень неприятно. И все-таки я считаю — так надо.

— Разве что для вашего спокойствия.— Он поднес ее руку к губам, потом прижал к щеке. — Ну ладно, при нем никаких больше разговоров по-русски. Потом вот еще что: у Отто нож. Надо его отобрать.

— Да, но как?

— Так ли, этак ли, а придется. Поговорю с Норбертом, он его знает лучше. Ну теперь мы с этим дрянным делом покончили?

— Как будто. Вы его остерегайтесь. Обещаете?

— Обещаю.

— Черт бы побрал этого Отто! Все шло так хорошо...

— Через год, а то и через неделю все это покажется такой

малостью.— Свободной рукой он погладил ее по щеке.— Скверный сегодня день. Нам так мало удалось побыть вместе. А завтра, наверное, и вовсе не удастся.

— Ну почему же, вы будете играть, а я слушать. Вот мы и будем вместе.

— А вам хочется, чтобы мы были вместе? — мягко спросил Андрей.

Она помолчала. Потом подалась к нему, уронила голову ему на грудь. Он обнял ее плечи, и она услышала его учащенное дыхание.

— Андрей, я хочу вас кое о чем спросить.

— Да?

— А если бы Отто нам не мешал? Еще немного, и вы бы, пожалуй, стали роптать — почему я не иду вам навстречу?

— Но вы ведь сказали мне: в вас все потухло, вы еще не пришли в себя. Как же я могу роптать?

— И все-таки...

— Это было бы просто глупо с моей стороны.

— Если б не одно обстоятельство, которое мы обошли молчанием: мужчине, чтобы быть с женщиной, нужно испытывать желание, а для женщины это не обязательно.

— Вас именно это мучает?

— Да.

Он поцеловал ее в лоб.

— Я уже вам говорил сегодня: все-таки вы меня не понимаете. Если вы спросите, хочу ли я, чтобы вы стали совсем моей,— да, конечно, всей душой хочу. Но этого должны хотеть и вы, не только я. Иначе это будет не любовь. Так, механическое что-то. А тогда уже роптать станете вы. И кому это будет в радость?

— Но у мужчины свои потребности. И удовлетворить их для него иной раз всего важнее.

— Вы правы, и скажу по совести: с другой женщиной я, может, повел бы себя иначе. Но сейчас нет для меня ничего важнее вашей любви. И не надо мне ничего, что хоть как-то мешало бы вам меня полюбить. Между нами и без того столько преград.

«Да,— подумалось ей.— И нам никогда не одолеть их. Тем несправедливей все это по отношению к тебе». Ее захлестнула волна нежности, сострадания к нему, до боли захотелось снова ожить, стать женщиной. Она подставила лицо.

— Вы меня еще не поцеловали.

Как и в прошлую ночь, поцелуй его был бережный, осторожный. Ей самой захотелось, чтобы все у них пошло по-

другому, она прижалась губами к его губам и ждала, ждала — а вдруг между ними пробежит искра! Но все кончилось горьким ее всхлипом.

— Ненавижу себя! — с мукой выкрикнула Клер.— Нет, никогда я не оживу. Будь проклят Освенцим, будь проклята война!

— Успокойтесь, не надо.— Андрей погладил ее по щеке.— Не мучайте себя зря. Ну чего вы хотите от своего истерзанного тела? Ему требуется время.

— Я так надеялась...— Она не договорила. Снова приникла к нему.— Вы за дорогой следите? Нам нельзя...

— Слежу. Но сейчас луну заволокло тучей, ничего не видно. Клер, я тоже хочу вас кое о чем спросить — только боюсь, вам будет тяжело. Я не имею на это права, и все же так хочется спросить...

— О чем?

— В лагере вас насиловали?

Она подняла голову:

— Так вы думаете, женщин там ждала именно эта участь?

— Некоторых безусловно.

— Нет. Это, кажется, единственная беда, которая нам не грозила. А с чего вы вдруг решили?

— Не я один, многие так думают. Почему бы эсэсовцам не воспользоваться вашей беззащитностью?

Клер засмеялась:

— Дома, наверное, тоже все так считают. Только нет, неверно это. К услугам эсэсовцев было сколько угодно женщин: одни шли к ним сами, других они покупали. А мы... Как только попадали в Бжезинку, нам обривали головы; одна ночь в карантине — и мы набирались вшей, через неделю от нас уже начинало вонять и добрая половина заболевала. Кто же мог на нас польститься?

— Тогда что за сон вас преследует?

— Ах вот вы о чем!

— Клер, родная, вас терзает какой-то кошмар, все время один и тот же. Но почему? Что с вами там стряслось?

Ее будто током ударило. И тут же встало видение — тягостное, странное: она в Париже, почему-то в той комнате, где жила студенткой. Насквозь просвеченный солнцем день, а она лежит обнаженная в объятиях мужчины — лица его не разглядеть: то ли это Пьер, то ли Андрей, то ли кто-то еще — ив отчаянии рыдает. Потом ее пронзила мысль: «Израненное сердце любить не может». Она содрогнулась. Но тут снова увидела Андрея, услышала его голос и с болью спросила себя — неужели раны в ее душе так никогда и не затянутся? Из глаз хлынули слезы, она

припала к Андрею, ухватилась за него, как ребенок в смятении хватается за отца, за брата. И мысленно взмолилась, совсем по-детски: «Выслушай меня, утешь, нет, ты только послушай, что за ужас мне пришлось пережить». И вдруг заговорила — отрывисто, трудно, как в сильном жару, и голос у нее был то резкий, то еле слышный, трепещущий, рассказ прерывался рыданиями:

— В сентябре в нашу секцию прибыл транспорт с заключенными. В первый раз за все время. Почему он вдруг пришел в нашу секцию? Не знаю. Еврейские дети от пяти до двенадцати лет. Семьдесят два ребенка. Я видела сопроводительную бумажку — их прятали польские семьи. А теперь гестапо этих детей выловило, чтобы отправить в печи Бжезинки. Я смотрела на них из окна. Сердце колотилось бешено. Они были такие милые и ни о чем не догадывались. А тут у моего начальника как раз собрались на совещание гестаповцы, и мне велели выйти во двор. Заговорить с детьми я не могла — вокруг эсэсовцы с собаками. Один мальчуган лет шести держал большое красное яблоко. Такой хорошенький, славный, одет так красиво. И все играл с яблоком: покатит его по земле — и бегом за ним. Наконец гестаповцы вышли. Попрощались друг с другом и разошлись, остался только один из нашей канцелярии, некто Кресс. Стоит, смотрит на мальчика. Потом подошел поближе. Окликнул его по-польски. Малыш обернулся. Тогда Кресс наклоняется... Хватает его за ножки и с размаху как ударит о стену... Размозжил ему головку...— Клер запрокинулась, стала судорожно хватать воздух ртом.— Но не думайте, это еще не все! Яблоко гестаповец сунул себе в карман. В тот же день к нему приехала в гости жена с сынишкой. Он сажает ребенка на колени... Целует... И говорит: «А что у меня для тебя есть!..» Достает из письменного стола яблоко и протягивает своему сыну...

У нее вырвался полузадушенный всхлип, ноги подкосились.

2

Он уложил ее на пол, опустился рядом, горячо шепча слова утешения, гладил руки, целовал мокрое от слез лицо. Рыдания сотрясали ее. Не сразу она затихла, не сразу смогла унять слезы. Наконец, проговорила с болью:

— И тогда что-то во мне сломалось. Теперь в каждом ребенке мне будет видеться тот малыш. Наверное, у меня никогда не будет детей. Тот эсэсовец убил их во мне.

Андрей молчал. Только гладил ее, целовал в лоб.

— Теперь понимаете, да? — проговорила она едва слышно, убитым голосом.

— Клер, родная,— сказал Андрей с нежностью,— я прошел через города, где не осталось ни домов, ни деревьев, ни парков, только развалины, воронки от снарядов, обгорелые пни — и мертвецы, мертвецы. Но даже и там между треснувшими камнями пробивалась трава. Клер, пройдет время, тело ваше и душа исцелятся. Два года вы провели в таком аду, какой и Данте не мог бы привидеться. Родная моя, для вас еще ничего не кончено, все наладится, дайте только срок.

Она молчала, припав к нему вконец обессиленная.

— Милая, хорошая моя Клер,— нежно продолжал он,— будь у меня ковер-самолет, знаете, куда бы я вас перенес? Есть на берегу одной речки дорогой мне уголок. Несколько березок — под ними можно посидеть,— а кругом полевые цветы. Вода до того прозрачная — рыб видно, а в солнечный день она так и сверкает. Река все течет, течет, как сама жизнь, ничто на свете не остановит ее. И если б я мог сыграть вам там, если бы вы услышали музыку, что звучит у меня в душе, самую мою сокровенную...

Вдруг он умолк, весь напрягся.

— Что такое? — встрепенулась Клер.

— *Танки!* — Андрей вскочил, она и сесть не успела, как он уже был у окна.— *Пока не видны, но я их слышу!*

— *А дорога видна?*

— *Только кусок. Скажите им! Скорей! Пусть все бегут к тем двум окнам. Я остаюсь здесь.*

Клер повиновалась и, подхлестываемая страхом, опрометью выбежала из комнаты. Только на лестнице она спохватилась, что может упасть в темноте. Резко замедлила шаг, взялась за перила и стала спускаться — осторожно, нащупывая ногой каждую ступеньку. Двигалась она совсем не так медленно, как ей казалось со страху, но, еще не добравшись до площадки,

закричала, вне себя от тревоги:

— *Вставайте! Лини, Норберт! Танки! Вставайте! Скорее к окнам! Слышите? Вставайте, вставайте!*

Наконец Клер спустилась, но, даже увидев, что остальные вскочили и бросились в цех, все никак не могла замолчать.

— Танки! — снова и снова выкрикивала она.— Танки! Танки!

Поднялся переполох. Все четверо поначалу расслышали только одно: «Вставайте» — и на бегу спрашивали друг друга, что стряслось. В темноте, в спешке мужчины не разобрали даже, кто кричит — Лини или Клер.

Наконец они поняли. Раздался голос Норберта:

— По дороге идут или сюда?

— Не знаю. Андрей услыхал. Скорее к окнам.

Не раздумывая, все кинулись к окнам, и опять голос Норберта:

— Но он видел их или нет? Где он сам?

— Я их слышу! — заорал Отто.

— Идут сюда! —в ужасе крикнула Лини.

— Тихо! — яростно бросил Норберт.

Еще не добежав до окон, они услышали рев множества мощных моторов, он быстро нарастал.

— Юрек! Отто! Раскройте окна! — скомандовал Норберт.— Клер, где Андрей?

— Наверху! Ему было видно...

Норберт закричал во все горло:

— Андрей! Танки идут сюда?

— Нет, по дорога. Немецкий «тигры»,— глуховато, но все же довольно явственно прозвучал ответ.

— Тебе хорошо видно во все стороны?

— Только кусок дорога. Дальше темно.

— Нам бежать в лес?

— Нет, пока танки не сюда.

— Всем оставаться здесь,— распорядился Норберт.— Я сбегаю взгляну.— И он кинулся во внутреннее помещение.

Юрек г силой распахнул окно, и их обдало холодом. Из тьмы донесся глухой удар, громко охнул Норберт — он упал, но тотчас же поднялся и с проклятьем ринулся вперед. Юрек и Отто бились над вторым окном, Отто неистово ругался сквозь зубы. Наконец окно распахнулось.

— Танки мимо! —закричал Андрей.— Уже проходили мимо наша дорожка.

Они прислушивались к оглушительному грохоту — он явно удалялся.

— А их много,— сказал Юрек. И радостно добавил:—То есть

верный знак — немцы бегут.

— Господи боже мой! — воскликнула Лини.— Может, завтра уже придут русские! Нет, вы только подумайте, завтра, а?

Донесся ликующий вопль Норберта:

— Уже почти скрылись из виду! Штук двадцать, огромные, страшенные, драпают вовсю.

— Может, закроем окна,— попросила Клер.— Я закоченела.

Она без сил привалилась к Лини. Ноги ее не держали.

— Это можно,— весело отозвался Отто.— Нам тут ничто не грозит — разве только ложная тревога время от времени. Живем себе, беды не знаем. Ну и холодина, а? Хороши бы мы были, если б послушались Андрея...— Вдруг он хрипло застонал, обернулся. Уставился на Клер. Он стоял шагах в трех от нее, и в темноте она не видела выражения его лица, но сразу почувствовала: что-то неладно. Тут послышались шаги — это спускался по лестнице Андрей,— и Клер все поняла. У нее перехватило дыхание, но она храбро шагнула к Отто.

— Послушайте...

— Вы были с ним наверху!

— Мы разговаривали, только и всего.

— Врете! Для разговоров нечего было удирать наверх.

— Я не могла уснуть. Мы просто не хотели...

— Врете вы, врете! — выкрикнул Отто яростно, оскорбленно. Он скорчился в три погибели, схватился за живот.— Убирайтесь, вранье все это! Вранье!

— Отто, прошу вас, поверьте. Даю вам честное слово!

— Врете вы все! Убирайтесь.

Лини схватила Клер за руку:

— Пойдем.

Беззвучно всхлипывая, Клер пошла за нею.

3

Все сгрудились вокруг Клер, и она шепотом стала объяснять, что происходит с Отто. Норберт прервал ее, подняв руку:

— О чем тут говорить, дело ясное — нож надо отобрать. Когда он войдет, потребую, чтобы отдал. Юрек, стань к двери. Если не отдаст, я схвачу его за руки, а ты кидайся сзади. Ну а ты, Андрей, выудишь нож. Договорились?

— Так,— ответил Юрек.— А если он сразу на нас бросится с тем ножом?

— Возьми долото. Дашь ему по пальцам или по локтю. Только по голове не бей. Девушки, уходите вон в тот угол. Андрей, ты что это?

Андрей, сняв грубошерстное пальто, обертывал им левую руку.

— Так нож режет пальто, не меня,— быстро ответил он.

— Верно. Ну надо кончать. Пойду кликну его.

— О господи! —шепотом выдохнула Лини.

Норберт открыл дверь цеха, самым беззаботным голосом прокричал:

— Эй, Отто, все прячешься от танков? Они же не по твою душу, приятель.

Из темноты донесся суховатый, сдержанный ответ:

— Норберт, поди сюда.

На мгновение Норберт замешкался, потом крикнул:

— Иду.

Он вышел. Лини охнула, повернулась к Юреку:

— Ступай за ним.

— Зачем? Они ведь старые товарищи, Отто и Норберт.

— Может, больше уже не товарищи — из-за меня. Иди, очень тебя прошу.

Юрек выскользнул в цех. Андрей подошел поближе к двери. Женщины испуганно ухватились друг за друга, в тишине было отчетливо слышно их прерывистое дыхание.

— Андрей, вам видно что-нибудь?

— Нет.

Все ждали. Лини тихонько заплакала. Наконец появился Юрек, следом вошел Норберт и закрыл за собою дверь.

— Отто — он не особо выдержанный,— спокойно проговорил Норберт,—г но в общем-то обуздать себя может. Вот нож. Я его даже не просил. Сам отдал, для того меня и позвал.

— А не сказал почему? — удивилась Клер.

— Сказал, что он не в себе и лучше пусть нож пока будет у

меня.

— Молодец! Я начинаю его уважать. Только что же дальше? Он теперь так и будет сидеть там один? Неудобно как-то.

— Насколько я его знаю, явится немного погодя и постарается шуточкой все сгладить.

— А теперь спать? Или хотите немного музыка? — спросил Андрей, надевая пальто.

— Ой, ради бога, немножко музыки,— взмолилась Лини.— А то я в себя никак не приду. Надо же—сперва танки, потом Отто... Нет, в этой гостинице становится неспокойно.

— Что верно, то верно,— подхватила Клер довольно сердито.— Придется завтра пожаловаться управляющему. И обслуживание никуда. Утром горничная забыла повесить свежие полотенца.

— А сегодня с ним потолковать нельзя, уже поздно?

— С кем?

— Да с управляющим!

— С каким управляющим?

— Клер, ну что ты, ей-богу! С управляющим нашей гостиницы.

— Дурочка ты моя, да не гостиница это, а кирпичный завод.

Лини расхохоталась:

— Ну вот мне и полегчало.

Андрей взял дощечку, уселся напротив остальных.

— Я сейчас играю, а кто же следит за дорога?

— Чья очередь после Андрея? — спросил Норберт Юрека.— Твоя или Отто?

— Моя.— Юрек пошел к окну.— Эй! Я вижу Зоею!

Норберт кинулся к окну.

— Где?

— В моем сердце.

Норберт усмехнулся, хлопнул Юрека по плечу.

— То не есть хорошая мысль — караулить из окна,— сказал Юрек.— Темно совсем, стал бы Зоею целовать и то не разглядел бы.

— Луна временами выглядывает. Нет-нет да и увидишь дорогу, так что караулить надо.— Норберт не спеша подошел к женщинам — они полулежали, закутавшись одним одеялом,— подсел к Лини, взял ее за руку. Лини с улыбкой вскинула на него глаза, привалилась к его плечу.— Музыку, музыку! — потребовал Норберт, Никогда еще не был он таким оживленным, беспечным.

— Дамы и господа,— сказал Андрей,— первый номер — старинный армянский народный песня «Сон». Мать поет для малыша «баю- бай», чтобы скорее спал.

— Ну и прекрасно,— сказала Лини.—- Вон та малышка тоже

будет рада, если вы споете ей «баю-бай».

Андрей поднял дощечку, поставил пальцы на самый ее верх, словно на гриф виолончели, сказал по-русски:

— Этот номер я посвящаю тому дню, дорогая Клер, когда мы с вами будем сидеть у реки, под моими березами. Согласны?

— Еще бы.— И вдруг порывисто: — Мы будем там вдвоем, и я обниму вас и стану вашей.

— Ох, Клер,— у него перехватило дыхание.— Только б дожить до этого!

— Музыку! Музыку! — Норберт захлопал в ладоши.

Андрей стал напевать, и Клер сразу поняла, отчего он выбрал эту песню. Чудесная мелодия с первых же тактов обжигала душу тоской: была в ней и задумчивая печаль, и все это так перекликалось с тем, что они переживали... Клер закрыла глаза. Вернулась мыслью к тому, что сказала сейчас Андрею. Нет, не сидеть им вдвоем на берегу реки. Но все равно, так хочется обнять его, шепнуть, что ее чувство к нему становится все сильнее.

Она стала тихонько подпевать. Мелодия была простая и, как обычно в народных песнях, повторялась. Вдруг скрипнула дверь, и Клер сперва подумала, что пришел из цеха Отто. Но Лини как-то странно, сдавленно ахнула, и Клер сразу открыла глаза. Вцепившись ей в бедро, Лини напряженно всматривалась в темноту. Еще ничего не видя, Клер поняла, в чем дело, ей подсказал это въевшийся в душу страх. Кто-то открывал наружную дверь — медленно, осторожно.

И тут, во второй раз в жизни, Клер ослепла. Когда зрение вернулось, она увидела в дверях солдата, одеянием своим напоминавшего монаха-капуцина. Он был в длинной, чуть не до пят, белой накидке, остроконечный капюшон скрывал каску, руки в белых перчатках сжимали автомат. Раскаленные иглы вонзились ей в мозг, в сердце, в живот. Из нее так и рвался безмолвный вопль: «Немец ты или русский? Немец или русский?» Солдат перешагнул через порог. Он был метрах в пяти от них и в темноте пока никого не видел. За ним осторожно, с опаской вошли еще двое. Вспыхнул огненный глаз фонарика, его луч хлестнул по стенам справа налево. Один из солдат увидел сидящих на полу людей, удивленно хмыкнул. И сразу же грубый голос скомандовал по-немецки:

— Руки вверх!

Беглецы повиновались: в этот миг каждый до конца понял, что такое отчаяние — безысходное, безмерное.

— Кто такие? Что делаете здесь?

Стоявший у окна Юрек, которого немцы еще не заметили,

тотчас смиренно ответил:

— Здешние мы, господин начальник. Хотели с девчонками поразвлечься.

Луч фонарика метнулся, выхватил из тьмы подобострастную улыбку Юрека, его поднятые руки.

— Стань вместе со всеми.

— Слушаюсь.

— Есть еще кто в этом здании?

— Я так думаю — никого, господин начальник.

— Русские патрули возле деревни не появлялись?

— Нет, господин начальник.

Короткое молчание.

— Вальтер, доложи Дитриху.

— Есть! — один из солдат вышел.

— А вы, девки, марш по домам!

Лини вскочила. Но Клер не в силах была двинуться, даже когда Лини рванула ее за руку: ни тело, ни душа не повиновались. Она глаз не могла отвести от мертвенно-бледного лица Андрея, а он, не отрываясь, глядел на нее — печально, безнадежно.

— Ну? — пролаял солдат.— Марш отсюда!

— Идите, Клер...— сказал Андрей.

Она поднялась, и Лини изо всех сил потащила ее к двери. Уже в проходной с губ ее сорвался стон, она повернула было обратно. Но Лини выволокла ее за дверь.

4

Оттого что они вдруг очутились в поле, на морозе, Клер сразу вышла из оцепенения.

— Вон туда! — Лини показала налево и бросилась бежать, Клер за нею.

— Куда мы? — крикнула Клер на бегу.

— К Каролю!

Уже совсем стемнело. Недавно выпавший снег был мягкий и глубокий, почти по колено. Сперва они бежали рядом. Боль, ужас, которые рассудок уже не в силах был вместить, выхлестывались из них бессвязным, отрывочным бормотанием. Через каких-нибудь шагов тридцать обе запыхались, но никак не могли замолчать.

— Господи, не допусти...— твердила Лини.— Господи, не допусти! Господи, не допусти... Сжалься, сжалься...

А Клер словно пьяная:

— Нет, нет... Немыслимо... До чего жестоко... Нет, нет...

Вскоре Клер остановилась, хватая воздух ртом. Лини круто обернулась.

— Скорей! Если узнают, кто мы, бросятся за нами в погоню. Давай за мной.

Она рванулась вперед, и Клер тотчас же затрусила следом. Теперь они бежали молча — два года Освенцима вымуштровали обеих. Там, когда погибает кто-нибудь близкий, ты сперва слепнешь, или, не помня себя, исходишь воплем, или что-то бессвязно бормочешь и призываешь на себя смерть. А меж тем в тайниках души идет подспудная работа, и вдруг наступает перелом: перестаешь бормотать, снова берешь себя в руки, начинаешь бороться за жизнь. Так и сейчас, все существо Клер напряглось в одном усилии — бежать. Теперь, когда Лини прокладывала дорогу, это было намного легче, и все же ноги едва держали ее.

Сквозь тучи пробился тонкий луч луны, и справа, метрах в пятидесяти, они увидели крышу дома.

— Туда! — крикнула Лини и кинулась к дому. Вдруг тучи поредели, и слева они увидели еще один дом, поближе. Лини свернула к нему. Пока они добежали, луна снова успела скрыться. Лини, опередившая Клер метров на десять, сразу забарабанила в дверь. В ночной тиши стук показался Клер чудовищно громким. Но, очутившись на крыльце и увидев, что дверь все еще не открылась, она тоже замолотила по ней кулаками, задыхаясь, стала звать:

— Пане Кароль, пане Кароль!

Незаметно для них в окне чуть отодвинулась сбоку темная штора. И вот дверь приотворилась, мужской голос грубо спросил по-польски:

— Чего надо?

В узкой щели виден был только глаз и кусок щеки.

— Вы пан Кароль?

— А вы кто будете?

С решимостью отчаяния Клер выпалила:

— Заключенные, прятались на заводе. Юрек вам разве не говорил про двух женщин?

— Откуда ты родом?

— Из Франции.

— А ты?

— Она по-польски не понимает... Она из Голландии...

Дверь распахнулась, они увидели тощего пожилого крестьянина.

— Ну я Кароль. За чем пожаловали?

— Там немцы... Патруль... Велели нам уйти.

Кароль метнул испуганный взгляд в сторону завода.

— А мужчин задержали?

— Да. Где можно спрятаться?

— Только не здесь! — Он снова глянул в сторону завода, быстро заговорил: — Давайте-ка прямиком вон туда,, за те елки. Увидите сарай. А дом заперт. Я там вчера был, хозяева в Катовице. Поесть принесу завтра вечером.

Клер повернулась рывком — посмотреть. Снова проглянула луна, и в сотне метров стали видны тесно стоявшие деревья.

— Спасибо, дай вам бог здоровья,— горячо сказала Клер, оборачиваясь.

Но дверь уже захлопнулась.

— Спрячемся в сарае... Вон там, за рощей.

Лини тут же кинулась бежать. Луна медленно вышла из-за туч, теперь все пространство от дома до рощи было залито ее светом. И опять Клер пришлось бороться за каждый шаг: ноги подкашивались, вязли в снегу, грудь ломило, шею сводило судорогой. Она обливалась потом, повязанная тонким платком голова заледенела, в сапожках таял набившийся дорогой снег. Но в мозгу билась лишь одна мучительно неотступная мысль: «Беги... Беги...».

Ели уже маячили метрах в тридцати — высокие, толстоствольные: ветви их поникли под грузом снега. Верхушки были высвечены луной, но внизу под деревьями залегла тьма, лишь кое-где прорезанная узенькими полосками света. Тьма

сулила безопасность, и близость ее подстегнула беглянок. Лини, широкая в кости, приземистая, бежала ровной рысцой, высоко поднимая голые ноги. И через каждые метров десять оглядывалась на бегу — не отстала ли Клер. Да она и сама уже выбилась из сил.

Со стороны завода донесся шум моторов, но ни одна не повернула головы. Вот Лини добралась до рощи, и ее сразу же поглотила тьма. Клер уже не бежала — шатаясь, еле передвигая ноги, она одолела последние несколько шагов, отделявших ее от спасительной темноты, и повалилась на бок. Миг — и Лини оказалась рядом. Опустилась в снег подле Клер, приподняла ее голову, прижала к груди. Говорить она не могла. По лбу все еще катился пот, сердце колотилось, обе судорожно глотали морозный воздух.

Шум моторов нарастал. Он совсем не походил на скрежещущий грохот танков, который они слышали раньше, да и был куда ближе. Клер испуганно села, показала в сторону завода. Лини поднялась, подошла к самой опушке. Клер, все еще тяжело дыша, двинулась за ней. Освещенный луною, завод был явственно виден. По ведущей к нему дороге шли орудия, грузовики, транспортеры.

— Где же наши? — отчаянным, севшим голосом выкрикнула Лини.— Что с ними? Сколько это времени прошло? Может, их отпустили. А может, угнали, и после войны мы их отыщем. Норберт...

Вдруг их словно полоснуло проволокой по голому телу — обе пронзительно вскрикнули. Сквозь шум моторов с завода донесся отрывистый треск автоматов.

Онемев от горя и отчаяния, в слезах брели они меж деревьев, цепляясь друг за друга. Перед глазами Клер неотступно стоял Андрей, каким она его видела в последний раз. Руки подняты, во взгляде безнадежность, он тихо говорит: «Идите, Клер...», а меж колен зажата сосновая дощечка, не раз помогавшая ему уноситься мечтою в будущее. «Нет, я не вынесу!—кричало в ней все.— Не вынесу!» А Лини, так недавно обнимавшая Норберта, брела спотыкаясь, и, словно в навязчивом кошмаре, ей мерещилось все одно и то же: в него стреляют, и он падает наземь, в него стреляют, он падает.

Они ничего не видели вокруг, ничего не чувствовали — лишь нестерпимую боль в сердце. Не замечали даже, что отдаленный гул боя приближается — это все новые и новые батареи открывали огонь. По небу словно ходила гигантская коса, скрежет горячего металла раздавался уже рядом. Очнулись они и закричали от страха, лишь когда из-за деревьев появились

солдаты в белых маскхалатах.

Один из них отрывисто спросил по-русски:

— Вы кто?

— Заключенные,— с трудом выдохнула Клер.— Бежали из Освенцима.

— Что делаете в лесу?

— Прячемся от немцев.

— Где они?

— Вон там, на заводе. У них пушки, мы видели.

— Знаем. Станьте вот за то дерево. Позади нас «катюши», сейчас они запоют.

На миг Клер словно окаменела, потом потащила Лини за дерево.

— Будут бить по заводу, у них «катюши».

— Как, по заводу?!

— Да, Лини, да.

Лини закричала, но голос ее заглушили залпы «катюш»: один за другим с оглушительным свистом откуда-то сзади вылетали снаряды и, дико, пронзительно Завывая, огненными метеорами уносились вдаль.

— Круши его, круши! — яростно вопила Лини.

И вдруг, неожиданно быстро, огненные вспышки прекратились, «катюши» умолкли, и вопль Лини оборвался всхлипом:

— Наши погибли! Погибли!

Теперь они стояли молча и каждая знала: без них, погибших, им бы не выжить, они спасли их, помогли им вновь почувствовать себя женщинами. «Идите, Клер...»— сказал Андрей, но смысл его слов был куда глубже: «Идите и постарайтесь уцелеть в этом полном опасностей мире. От всего сердца желаю вам: пусть будут в вашей жизни любовь и музыка, которые так хотел подарить вам я. Идите, родная».

— Пошли, девушки,— сказал им русский солдат.— Отведу вас в безопасное место.

Поддерживая друг друга, они побрели за ним.

[6] Освенцим включал несколько концентрационных лагерей, подразделявшихся на три секции

Секция I — собственно Освенцим. Здесь находилась комендатура и мужской лагерь; имелось и несколько женских команд, выполнявших конторскую работу особого назначения, но они были изолированы от остальных заключенных.

Секция II — Бжезинка. находилась менее чем в трех милях от Освенцима. На ее территории были расположены мужской и

женский лагеря. Здесь же были сосредоточены газовые камеры и крематории

Секция III включала сеть лагерей и промышленных предприятий, занимавших в общей сложности площадь в несколько сотен квадратных миль. *(Прим, автора.)*

[7] Так называлось на лагерном жаргоне кремирование.

[8] Здесь: негодяйка *(франц.)*.

[9] Дорогая *(франц.)*.

[10] Имеется в виду капитуляция Франции, подписанная 22 июня 1940 г.

[11] Виши — небольшой город в Южной Франции, где через несколько дней после капитуляции обосновалось марионеточное профашистское правительство Петена.

[12] Периодические осмотры заключенных, во время которых эсэсовцы отбирали ослабевших и больных для умерщвления в газовых камерах.

[13] Да неужели! *(франц.)*

notes

Примечания

1

Здесь: бросающемуся в глаза (франц.).

2

Давай-давай! Выходить! (нем.)

3

«Мусульманами» на лагерном жаргоне назывались заключенные, доведенные до крайней степени истощения. *(Прим. авт.)*

4

Цветной треугольник с буквой указывал, что инкриминировалось заключенному концлагеря, и его национальность; политические носили красный треугольник. Евреи носили не треугольник, а желтую шестиконечную звезду. *(Здесь и далее, кроме оговоренных случаев,— прим. перев.)*

5

В гитлеровских концлагерях помощник надзирателя из числа заключенных.

6

Освенцим включал несколько концентрационных лагерей, подразделявшихся на три секции.

Секция I — собственно Освенцим. Здесь находилась комендатура и мужской лагерь; имелось и несколько женских команд, выполнявших конторскую работу особого назначения, но они были изолированы от остальных заключенных.

Секция II — Бжезинка. находилась менее чем в трех милях от Освенцима. На ее территории были расположены мужской и женский лагеря. Здесь же были сосредоточены газовые камеры и крематории

Секция III включала сеть лагерей и промышленных предприятий, занимавших в общей сложности площадь в несколько сотен квадратных миль. *(Прим. автора.)*

7

Так называлось на лагерном жаргоне кремирование.

8

Здесь: негодяйка (франц.).

9

Дорогая (франц.).

10

Имеется в виду капитуляция Франции, подписанная 22 июня 1940 г.

11

Виши — небольшой город в Южной Франции, где через несколько дней после капитуляции обосновалось марионеточное профашистское правительство Петена.

12

Периодические осмотры заключенных, во время которых эсэсовцы отбирали ослабевших и больных для умерщвления в газовых камерах.

13

Да неужели! (франц.)